



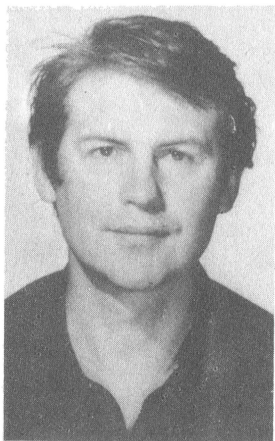
1989

МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ

Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ

Филимон СЕРГЕЕВ

Фредина  
Беда



Филимон СЕРГЕЕВ родился в 1944 году в деревне Химонево Шенкурского района Архангельской области. После окончания школы рабочей молодежи работал в колхозе и на ремонтно-механическом заводе в Архангельске.

Публиковался в газетах «Правда Севера», «Советская Онега», «Северный комсомолец» и журналах «Литературная учеба», «Сельская новь».

«Федина беда» — первая книга автора.

Северяне — народ основательный и целеустремленный. Это и естественно, ибо в приполярных широтах, откуда родом молодой прозаик Филимон Сергеев, сама природа, жесткая и суровая, закаляла характер северян. Нынешние потомки поморов, унаследовавшие крепость родовых корней, достойно продолжают дела прадедов и дедов. И не только в трудах хозяйственных, но и в слове, многоцветном, искреннем и правдивом. Именно эта искренность и правдивость лежат в основе творчества Филимона Сергеева.

В литературу он пришел не случайно. Велика была потребность души рассказать о земляках своих, их характерах и обычаях. Рассказать и взглядеться в отчие пределы древней северной земли. Пожелаю же автору не терять с этой землей связи, сохранить в душе для будущих книг — а они, надеюсь, у автора будут — верность, искренность и добросердечность.

**Дмитрий УШАКОВ**



ФИЛИМОН  
Сергеев

Федина  
беда

*Повесть и рассказы*

Москва  
«Молодая гвардия»  
1989

**Художник Ирина АНДРЕЕВА**

Адрес редакции: 125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., д. 5а

© Издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия».  
Библиотека журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1989 г.  
№ 28 (391)

**Выпуск произведений в Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации.**



## ФЕДИНА БЕДА

*Повесть в письмах*

27 июня

Ты прости меня, бабушка, Христа ради прости! Я очень виноват перед тобой... Очень и очень виноват! Не буду оправдываться, слишком многое способствовало моему внезапному отъезду. Главное, ты пойми меня, родненькая, и ради бога, не сердчай. Мне с тобой всегда было радостно жить. И сейчас я тебя каждый день вспоминаю. И сейчас ты меня поддерживаешь и согреваешь, потому что неуютно мне в городе. Все оказалось здесь не так, как я думал.

Поместили меня в студенческом общежитии, неподалеку от железнодорожного вокзала. Так что, ежели голодно будет — пойду разгружать вагоны. Но, говорят, туда трудно устроиться.

Улица, на которой находится наше общежитие, — Трифоновская. Это тебе не деревенская улица. Здесь не только дома каменные, высоченные, непонятного серого цвета, но и земля другой окраски. А мало земли-то как. Ох как мало! Повсюду дома да асфальт. Дороги из асфальта, и тропинки к домам тоже из него

или из каменных плит, таких же огромных, как на хорошем кладбище. И все эти дорожки и переходы гладкие-прегладкие. По-моему, это для того сделано, чтобы люди побыстрее на работу бегали. По ровному-то месту оно всегда быстрее.

На кого я учиться надумал, об этом пока не напишу, а вдруг не сбудется — тогда что? Позору не оберешься! Даже Нюре не говори...

Еще раз прости меня, бабушка, за то, что без твоего разрешения уехал. Ты ведь мне мать родную заменила, и отца, и дедушку. От того, наверное, и сердце по ночам у меня болит. Скучаю без тебя, родненькая моя, единственная моя, ох как скучаю! Только неделя прошла, а уже изба наша снится, сарай, двор и ты в отцовом ватнике. Дровишек-то я тебе на две зимы наколот, и вьюшку для душника починил, и баньку из сырости поднял, а сердце все равно ноет...

Ладно, бабушка моя ненаглядная, все хорошо будет, все обойдется... только постарайся не болеть. Вот экзамены пройдут, и обязательно приеду, а сейчас бегу в институт.

Обнимаю тебя, горячий привет Нюре, дяде Пете.

Твой внук Федя.

## 9 июля

Милый мой, Феденька! Чуяло мое сердечко, что ты выпорхнешь из нашего гнездышка, но не думала, что так скоро. Знала я, Феденька, что худо тебе без отца, без матери, но ведь ты же не круглый сирота, у тебя бабушка есть, а бабушка, ежели она не больная, — любого родича заменит: и носочки шерстяные свяжет, и шанежек картожных напечет, и сказку добрую расскажет. Что же ты, Федюша, так круто поступил со своей бабушкой? Я думала, ты у меня хорошим мальчиком растешь, соседке из Омутниц только про тебя и наговаривала, а ты вот что отчубучил — в самую распуту, в самое цветение черемухи укатил! Значит, ты, Феденька, без бабушки решил жить! Ой ли, ой ли! А ты не подумал, сможет ли бабушка без тебя? Ведь у нее один-единственный сыночек был, и того Гитлер угробил. И дедушка твой от бабушки еще в гражданскую войну ушел,

неужто и ты, Феденька, решил отбиться? Не поспешил ли ты? Ведь у тебя ботинок и тех одна пара, да и пальтишко на рыбьем меху. А ведь в столице-то не только одеваться хорошо надо, но и кушать. Столица-то у нас одна, Феденька, а нас, деревенских,— тьма. Посылаю тебе, голубчик мой непослушный, двадцать рублей из своей пенсии и, Христа ради, прошу купить новые ботинки. Старые-то у тебя совсем прохудились, в них не только по столице зазорно ходить, но и у нас на скотнике. А на денежки, что останутся после обновочки, хлебушка накупи. В столице хлебушек, говорят, не то что у нас в деревне — из чистой муки. И на одном хлебе прожить можно, конечно, до определенной поры, но все-таки... Вон у нас Гришка Антипин, бобыль из дальнего суземья, как бражку пить начал, так на одном хлебушке и зажил. Поначалу вроде бы и хорошо, пьет себе бражку да житными лепешками закусывает, а потом, когда она кончилась, бражка-то, то один хлебушек пришлось есть, заворот кишок получился. Так, бедный, и скончался в красной поре. Ты, Феденька, на одном хлебушке не шибко-то постничай. По твоей комплекции и маслице надо кушать, и сметанку. Знаю, внучек ты мой, что ты без денежек щас, но денежек обязательно пошлю, после Иванова дня, конечно. Я бы и теперь послала, да пенсию за ремонт колодца отдать надо. Так что потерпи малость, недельки две-три... А то, что ты, Феденька, самовольно из дома уехал, так это очень плохо — пренебрежение к родителям никогда хорошо не кончалось. Мало ли что в голову тебе придет.

Ты хотя и здоровый у меня мальчик, рослый, да умом-то все равно мал. Думаешь, бабушка не понимает, что у нас нынче век науки да скоростей безумных? Все твоя бабушка понимает, только, кроме головы, у нее еще сердечко есть. А сердечко ей подсказывает, что ты зря из деревни уехал. Здесь у нас хоть и старенький и небольшой домик, но свой, и огород свой, и сад калиновый, и вода, и картошка, и лук — все свое... А в городе, Феденька, ты голодом насидишься! Ведь это и дураку нашему Леньке понятно, что на одну пенсию мою тебе в студентах никак не ходить. Мы ведь, Феденька, с тобой из бедных людей про-

росли: и дедушка мой всю жизнь в деревне прожил, кренки\* для саней гнул, и бабушка Авдотья Поликарповна век свой пастушила, и папка мой до самой японской на дальних болотинах лыко драл, и мамка в рудной избе родилась, и я век-вековущий в калиновом суземье живу. Отчего же ты, Феденька, в столицу подался? Ты что, умнее нас? А мне кажется — наоборот... Горько писать об этом, тягостно, а ведь так получается... Разве посмел бы кто-нибудь из нашего колена или родичей моего супружника бабушку родную бросить? Никто, Феденька! Никогда! А ведь ты бросил меня, ангел мой, на осьмом десятке бросил! Вместе со всей животиной, колодцем неисправным да полем картофельным. У меня буквы перед глазами расплываются от этих слов. Я ль тебе, Феденька, былинок не певала про молодца, который погиб от горя, оставив реку Смородину; я ль тебе соловецких рыбников не стряпала. А сколько белья перестирала, сколько носков перештопала! Что потянуло тебя, Феденька, из нашего гнездышка? Чем я тебе не угодила? После твоего письма я целую ночь уснуть не могла.

Круто, ой круто ты поступил со своей бабушкой. Сердце мое болит о тебе — заключают тебя, мальчик ты мой, там в столице.

Посылаю тебе еще одну пятерочку. Только не по почте, вместе с двадцаточкой, а прямо в письмецо вкладываю. Ты на эту денежку сахарку кусочками купи, только не пиленного рядками, что пачками продается, а на развес, он намного вкуснее.

Сегодня же, мальчик мой, я тебе и посылочку с грибочками сушеными пошлю да ягодок кисленьких.

А сейчас, внучек мой непослушный, мне бежать надо овечек кормить, потому письмецо свое на этот раз заканчиваю и жду от тебя скорой весточки.

Твоя бабушка Дуня.

4 августа

Бабушка моя единственная!

Спасибо тебе за денежный перевод, а главное, за сердечное письмецо спасибо.

---

\* Кренки — полозья.



Ботинки я купил в тот же день, как только получил перевод. Спасибо тебе, родная моя! Ради бога, еще раз прости меня за то, что я оторвался от нашего дома. Ты не представляешь, милая моя бабушка, как я скучаю без тебя! Сначала все казалось просто — уехал, и концы в воду. Но чем больше живу в столице, тем сильнее и сильнее тянет меня домой, на нашу клюквенную болотину, в родную деревню к землякам. Здесь, в столице, все сложно, запутанно, и пока что многое мне непонятно. Может быть, эта сложность и заставляет меня часто задумываться и видеть в окружающих меня людях совсем не то, что они представляют на самом деле.

Недавно после экзаменов в институте я спустился к выходу вниз по лестнице и, подойдя к застекленной двери, долго смотрел на улицу.

Улица была полна незнакомыми и какими-то очень странными людьми. Даже в сердце кольнуло. Я вдруг с тревогой подумал, что эти люди могут никогда в жизни больше не встретиться мне! Они могут просто не увидеть меня больше, так же как и я их. Я стал внимательно наблюдать за прохожими. Они шли мимо бесконечной вереницей, как будто связанные невидимой, но крепкой веревкой. И я вдруг подумал о том, что и меня тоже свяжут, и вся здешняя жизнь моя превратится в такое же безостановочное движение.

Потом я вспомнил о педагогах, которые принимали у меня экзамены, и пришел к выводу, что моя судьба их мало интересует. Не я, так другой сдавал бы экзамены вместо меня. А ведь ты вспомни, бабушка, когда в наших местах появлялись незнакомые люди, то деревенские жители всегда спрашивали у них: «Откуда вы? По какой надобности? Каких корней?» А здесь никто ни о чем не спрашивает, разве только медицинскую справку потребуют и аттестат зрелости...

Ну а раз я вспомнил об аттестате зрелости, то теперь, роденькая моя, сообщу тебе, ради чего я приехал в столицу. Только прошу наберись терпения и выслушай меня до конца, и ради бога, не говори об этом Нюре, потому что ей, может быть, будет очень больно от этой новости, и дяде Пете не говори по тем же

соображениям, и дружку моему Толе не сказывай. Итак, милая моя бабушка, еще раз прошу тебя — не отчаивайся и не считай меня слишком глупым. Я решил стать профессиональным драматическим артистом, и с этого пути меня уже не свернешь! Но, несмотря на твердое решение, во мне борются какие-то странные противоречия. С одной стороны, я очень люблю театр — за силу сказанного со сцены слова, за его смелость, страстность и многое другое. А с другой стороны, я все больше и больше убеждаюсь в том, что какая бы ни была удивительная игра актеров — это все равно игра! А мне, бабушка, не игры, а правды охота! Я знаю, родненькая моя, что ты не читала трагедий Шекспира и никогда не была в театре, но правду ты хорошо чувствуешь. Поэтому выслушай меня. Я отлично помню нашу уборочную страду. Помню, как мы сеяли, жали и молотили жито. Особенно помню жатву: дождливый мрачный вечер, мы потные, разгоряченные стараемся приблизиться к последней житной полоске, а она, словно линия горизонта, как будто совсем не приближается к нам. ...И помню я, родненькая моя, как мы подбирали каждый худосочный колосок, вплетали его в копну, почти по зернышку собирали суслоны. Сколько нужно было усилий, чтобы сложить эти суслоны в овин, и все это для того, чтобы иметь пусть и малый, но все-таки кусок хлеба. И вот несколько дней назад, милая моя бабушка, я получил твою двадчатку и, достав себе обновку за семнадцать рублей, на три рубля накопил разного хлеба. Надо сказать, что белые булки в столице и в самом деле очень вкусные, особенно сдобные кирпичики за тридцать копеек. Хлеба я набрал на целую неделю, потому, как тебе известно, люблю черствый, почти сухой хлеб и, кроме того, у меня сейчас совершенно нет времени ходить в магазин. Ведь я уже прошел основные экзамены в институт и теперь готовлюсь к общеобразовательным предметам. Так вот, прихожу я позавчера из библиотеки, открываю свою тумбочку, а хлеба там нет. Спрашиваю у сокурсников: «Где хлеб, ребята?» А они мне в ответ: «Тараканы съели...» — «Какие тараканы?» — «Двуногие», — отвечают. Потом объяснили: «По комнатам санитарный рейд ходил, вот им и не понравились твои сухари...»

Досадно мне стало. Я ведь, родненькая моя, специально хлебушек подсушивал. Да пусть бы он и совсем засох, но как так можно по чужим тумбочкам шарить! Разыскал я студентов из этого рейда, спрашиваю у них: «Куда вы дели хлеб из двести шестнадцатой комнаты?» А они мне в ответ: «Съели мы твой хлеб, парень, разделили на три части — и съели, а сухари выбросили... Вопросы еще будут?» — «Вопросов,— говорю,— больше не будет, только за такие шуточки по морде полагается!» А один из них, что поздоровее немного и постарше остальных лет на пять, посмотрел мрачно на мои ботинки да ехидно так и спрашивает: «Ты из какой тундры прикатил?! У нас тут свои порядки, а если общежитие не нравится — фатеру сымай!» А эта фатера знаешь сколько здесь стоит? Ноги вытянешь — не расплатишься... Вот и подумал я тогда, глядя на этих парней из «санитарного» рейда: «А ведь через четыре года учебы из меня может получиться такой же зверь, как они, и на сцене, кроме злодеев, мне больше ничего не доверят играть...»

Поднялся к себе в комнату, бросился на койку и разревелся. А утром мои сокурсники, видя, что мне плохо, предложили сходить в учебный театр на просмотр курсовой работы. Честно говоря, такого предложения я не ожидал, потому что соседи мои по комнате очень неразговорчивые ребята. Но отказываться не стал. Часа через полтора был уже в театре. Ты не представляешь, какое радостное чувство испытал я, глядя на сцену. Слезы навернулись на глаза, когда заиграла торжественная музыка и занавес стал медленно раздвигаться. И вдруг вижу: на сцену вышли, кто бы думала? Да, эти самые трое злодеев! Только лица у них были совсем другие, и глаза какие-то непохожие на те, что я видел в общежитии. И не потому, что они были чересчур нагримированы, а просто они казались добрыми, отзывчивыми, чуткими, как будто их подменили. Они и роли играли такие же доброжелательные, и даже нравились многим зрителям. Но я-то, миленькая моя, уже знал, какие они! Весь спектакль я только и думал о том, как же ловко человек может скрывать свое истинное лицо! Я поинтересовался у своих однокашников по комнате, знают ли они этих студентов. И ребята по секрету сказали, что

знают и что вчера у них была небольшая пирушка, и мой хлеб, по-видимому, пошел на закуску.

Вот так, милая моя бабушка! Для них, родленькая моя, хлеб — закуска, а для меня...

Ну да ладно... Спасибо тебе, родительница моя, за пятерочку, которую ты в письмо вложила, спасибо за сушеные грибы, ягоду кислую. Теперь у меня все есть: и хлеб, и суп грибной, и кисель. Конечно, готовить самому времени не хватает, но зато дешево и сердито.

Милая моя бабушка, я обязательно приеду, как только сдам все экзамены и подзаработаю немного денег на товарной станции. Письмо свое заканчиваю, потому что уже три часа ночи и товарищам по комнате очень мешает свет настольной лампы.

Обнимаю тебя. Привет Нюре, дяде Пете.

Твой внук Федя.

## 16 августа

Феденька мой, солнышко мое единственное!

Сегодня утром, не успела я самовар вскипятить, как вдруг со стороны взвоза постучала почтальонша Тоня. Открываю конверт, а сама плачу. Думаю, вот мой Феденька столько бумажки исписывает для своей бабушки! А ведь на бумажку тоже копеечка нужна... где же ему набраться этих копеечек? Прочитала я письмо — и ничего делать не могу, а надо овечкам корма дать, воды принести. Посидела я у оконца, поплакала и опять письмо перечитала. И вот что, Феденька, я тебе скажу — не за свое дело взялся, мальчик мой, не мужицкое, а отсюда и боль в душе. Вторая твоя ошибка, Феденька, что ты не посоветовался с бабушкой своей при выборе основного дела. Мало ли у нас в России рук требуется! И плотники, и каменщики, и шофера, и на лесоповале сколько рук надо! А на дворах скотных? Что же ты надумал, Феденька, на артиста учиться? Да у нас в роду даже в церкви никто не пел, не то что на сцене. А я за свою жизнь всего один раз в театре была, в Архангельске, когда к доктору ездила. Ты пишешь, мальчик мой, что тебе правды охота, это хорошее желание, Феденька. Только всем ее хочется.

И эти трое тоже бы от правды не отказались. Но за нее, мальчик мой, бороться надо, за правду-то, изо всех сил бороться! И для этого надо не только здоровье крепкое иметь, но и знать много. А человек теперешний так устроен, особенно за деревенских скажу, знает мало и видит не дальше своего двора, а правды хочет на всю Россию. А ведь любить правду и жить правдой не многим людям под силу. Вот я и думаю, хватит ли у тебя сил? Здоровья, думаю, хватит, а вот знаний и упрямства в достижении своей цели хватит ли? А злые люди, Феденька, вряд ли когда-нибудь переведутся. Потому сомнения твои понятны. Но ведь у тебя своя голова есть. Ради бога, мальчик мой, не переживай за мерзких оборотней и не вздумай пока учить их или спорить с ними. Ведь у тебя так мало еще знаний, смышления, а друзей настоящих, кроме бабушки твоей единственной да землячки Нюры, никого нету. А то, что ты, Феденька, без хлебушка остался, так это не самое страшное. Может и так случиться, не дай бог, что ты от любой правды откажешься, от родных, от любимого дела, лишь бы только хлебушек был... А пока, Федя, совесть свою береги да сердечко чуткое. Нынешняя-то молодежь то и другое теряет, пока в начальники выбирается или в знаменитости. А ты, Феденька, совестливым будь, терпеливым... Хорошо, мальчик мой?

У нас на селе нынче практичным человек стал: только о прибавках думает да о своей выгоде. Мало кто о душевной красоте. Попроси кого-нибудь, особенно из вербованных, воды в баньку натаскать для старого человека или дров с улицы принести — шага не сделают! А ведь я для радости душевной многим теплые носочки вяжу, без всякой выгоды. А сколько я рукавиц только от одной жалости заштопала! Только из-за сострадания... От добра, Феденька, добра не ищут. Вечером позапрошлой недели ко мне Петька Чумаков постучался, плотник из Омутища, крепко выпивший. «Дай,— говорит,— баба Дуня, бутылочку. Я знаю, что у тебя есть... Или продай, на худой конец». А сам еле на ногах стоит. «Как же я тебе дам,— отвечаю я,— ежели ты бедолага такой?» Бутылочка у меня, конечно, была, на корне настоящая. Но ведь он, Петька-то Чумаков, как в обмороке ка-

чается. Я ему: «Сядь, Петя, на лавочку, чайку со мной выпей, ты ведь, наверное, с топором намаялся».

Послушался он меня, несмотря на свой бычий характер, снял с головы картуз, телогрейку с плеч сбросил, а как только сапоги разул, я так и ахнула! Ножки-то у него, Феденька, совсем голые, пальчики на них синие, а ногти на пальчиках — черного цвета. Я ему: «Ты что, Петя, совсем одичал?! Да такие обувки я только у бурлаков видела». Взяла я один сапóжек, хотела на печку поставить, а он мокрый весь и тяжести несусветной. Скользнула я рукой в голяшку, а там гвозди ржавые, да такие долгари толстые, словно баржовые! «Да ты куда,— говорю,— Петя, гвоздей насовал?» А он: «Милая Евдокия Степановна, голубка моя, не корежь душу, налей». Достала я бутылочку и в охапке держу, как малого ребенка. «Вот,— говорю,— Петя, перед тобой бутылочка на корне калгановом, враз кровь взиграет...» Плеснула ему полный стакан настоечки. Он выпил, разругаясь, расслабился, на ноги босые посмотрел и еще просит. Я ему: «Ты что, Петя, умрешь!»

Он нахмурился и говорит: «Лучше я, Евдокия Степановна, от калгановки умру, чем от жизни такой... Ты видишь, на кого я похож?» — «Да, вижу, Петенька, вижу. Только понять не могу, что случилось с тобой?» — «С женой поссорился,— ответил он и опять нахмурился,— с Галей Остроумовой. Она сначала Снегурочкой прикидывалась, единственным меня называла, неповторимым, носки мне вязала, свитера из чистой шерсти, штаны кожаные достала, дубленку, а потом, когда дети родились и денег не стало хватать, Снегурочка моя будто растаяла...» Он мрачно посмотрел на ржавые гвозди, которые я вытащила из сапог, их было ровно девять, и со слезами на глазах выдавил: «Это она в мои обутки гвозди сует. Раньше носки теплые совала, а теперь — гвозди». И громко расплакался. Признаться, Феденька, мне было не очень приятно слушать, как плачет здоровенный молодой мужик, отец двух малых ребят.

А он знай не унимается да сквозь слезы и на жизнь свою жалуется. «Она,— говорит,— гадюка подколотная, деньги у меня из кармана ворует, которые я честным трудом зарабатываю.

Вот, в карманах, гляди, после шабашки в каждом было по двадцать пять рублей. Утром встаю, одеваюсь, а денег нету». «Да что же такое случилось с твоей Снегурочкой? — спрашиваю. — Может, ты, Петя, на сторону ходишь?» — «Да никуда я не хожу, Евдокия Степановна! Я ей в жизни не изменял, своей Галеньке...»

Вот видишь, Феденька, до чего жена мужа довести может... Из дома выживает, а у него ни угла, ни родичей, ни накоплений...

Всю-то ночь пробыл у меня Чумаков. Я ему носочки шерстяные подарила, рукавички старенькие для плотницких работ. Спать положила его на полати. Он у меня как малый ребеночек на полатах разомлел, а утром спустился вниз, опохмелился все той же калгановкой, которую я после третьего стаканчика спрятала, и говорит вкрадчивым, почти ангельским голосом: «Бабушка, ты хороший человек, только почему одна живешь? Давай вместе жить. Усынови меня». Мне от этих слов почему-то страшно стало — неужели, думаю, я одна? А где же мой Феденька? Где голубчик мой! Неужто больше не увижу... А он, Петька-то, опять спрашивает: «Что, бабушка, молчишь или боишься характера моего? Напрасно боишься! Я ведь этой калгановки, если вместе жить будем, в рот не возьму, потому как я не пьяница и хмельник меня стороной обходит. Давай соглашайся на мое предложение. Про Федьку-то, внука твоего, я все знаю: и то, что он из дому родного утек, и про то, что с Нюрой из Хаялы дролился... В общем, будь уверена, я твоих овец голодом не заморю и картошку не спорчу... Нельзя тебе одной жить, бабушка, никак нельзя...»

Вот так, Феденька, мальчик мой. Жалость да боль сердечная острее ножа душу ранят, жалею я тебя, Феденька, ох как жалею! И Петьку Чумакова жалко — редкий мужик, а счастья нет. Это, наверное, от того, Федя, что он однобоко на мир смотрит, напрямик. Он думает, все должны быть такими же. А ведь мир, Феденька, не однолик, что ни человек, то характер. И разве можно подстраивать людей только под свою колокольню. Плохо на земле будет, ежели каждый только под свою...

Да, чуть не забыла, Нюра просила твой адрес. Я ей сказала, что адрес у тебя временный и ты скоро приедешь. Она позавчера пятый раз приходила, понять никак не может, зачем ты в столицу на такой длинный срок уехал. Переживает, что не предупредил ее. «Скажи,— говорит,— баба Дуня, честно, чего он там забыл? Ежели,— говорит,— со столичной какой сошелся, то я его все равно отобью. Зря темнит!»

Ты уж, Феденька, напиши ей. Ведь ближе ее да меня у тебя никого нет.

Вчера я тебе денежек на маслице послала — круглую циферку, десяточку. Ты уж, Феденька, денежки зря не трать, до следующей пенсии еще двадцать дней осталось. Хлебушка опять накупи да спрячь подальше, а маслица понемногу бери, сам разумеешь...

Вчера вечером опять Чумаков прикатил. Я ему дверь открыла и сразу наверх пошла, в горницу летнюю, села на лавочку и жду его. Почему, думаю, он так долго не заходит? А он внизу под лестницей чем-то бряк да бряк, гляжу, батюшки, прямо с бензопилой к столу идет! Я ему: «Ты что, Петя? У меня пилить нечего! Щас же снимай сапоги и бензопилу в сених поставь!» Он ничего не ответил, сапоги молча снял, а ноги у него опять голые и пальцы синие, тут уж я ему дала прикурить! «Как,— говорю,— тебе не стыдно? Я тебе последние носки выложила, а ты опять босой! Куда,— спрашиваю,— носки дел? Пропил? Ну, говори!» Он сел на лавочку, вздохнул, а пилы из рук не выпускает, бережно ее держит, с достоинством, ну прямо как икону пресвятой богородицы. «Что,— говорю,— застыл, словно певчий на клиросе? Пропил, значит?!» А он сидит, молчит, будто воды в рот набрал, да пилу разглядывает, словно век-вековущий не видел. «Ах ты, Петя, Петя!» — стыдить я его начала. Гляжу, он с лавки поднялся, бензопилу к груди прижал. «Бабушка,— говорит,— родненькая моя, угодница бескорыстная, налей стаканчик калгановки. Откажешь — завтра же в тюрьму сяду! Вот видишь бензопилу, она по дереву любой выкрутас вертит... Не нальешь — сейчас же отправлюсь в сельмаг и угол винного отдела прямо по запаху отсеку!»



Испугалась я не на шутку, ведь семья у Петьки рушится, малые детки без папки могут остаться! Беда-то какая! Надо ее отвести. Но в том-то и дело, что отвести-то и нечем — калгановка-то у меня кончилась...

Вот и забегала я по горнице как угорелая, то туда, то сюда, а выпивки нет! Тут я возьми да и обозлился на весь белый свет, давно, Феденька, со мной такого не было. Схватила я топор, он у печки стоял, и на Петьку: «Ты что, паря, ополоумел?! А ну, положи пилу, не то ухайдакаю как бандюгу!» А он вместо того, чтобы испугаться или хотя бы от моих слов очухаться, как брякнется на лавку вместе с пилой, да как загогочет на всю горницу: «Ну ты,— говорит,— бабка, и уморила! Ты, оказывается, не токо опохмелить можешь, но и топором хряпнуть! А я,— говорит,— нынче никого не боюсь, потому как вокруг меня безверный да бесчестный народ скопился, вроде жены моей! А за тебя, старая, просто обидно... Ну, жаль тебе калгановки, только зачем страсть такую чинишь? Неужели настойки больше, чем человека, жаль? Не стыдно тебе?!» Я, Феденька, готова была хоть сквозь землю провалиться! Разве бы я пожалела спиртного, но где взять его, ежели на растирку — и то нет. Одеколоном натираюсь...

Вижу, что гость мой сразу приутих и, то ли от моих слов, то ли от усталости, глаза закрыл и голову на грудь повесил. Потом вдруг глянул на меня: «Налей ради Христа,— говорит,— одеколонной растираловки».

Я так и ахнула! «Ведь это же не питьевое!..» А он мне спокойно так: «Пусть это тебя не волнует... А ежели боишься, то я могу записку написать, чтобы в погибели моей никого не винили...»

Делать нечего. Я одеколончик из комода вытащила и на стол выставила. «Пей,— говорю,— парень, только прежде чем наливать, свечу из бензопилы выкрути и мне на всякий случай отдай».

Он свечу вытащил и смотрит на меня словно провинившийся ребенок. Тут я поняла, что гость мой успокоился немного, спрашиваю: «Что тебя заставляет пить такую заразу?» Он нахму-

рился, отодвинул вонючее зелье, а зашептал, тихо так зашептал, как на исповеди: «У меня,— говорит,— дедушка был, Василий Степанович, хороший, чуткий человек, я любил его очень, потому что всю жизнь он во что-нибудь верил. Сначала, после церковноприходской школы, в бога верил, потом, когда женился, в любовь, а когда на гражданской войне побывал — людям стал верить... А я никому не верю, даже жене своей!» — «Почему, Петя?» — удивилась я, и мне вдвойне жальче его стало. Я поднялась с лавки, подошла к нему совсем близко и точно так же, как перед тобой, Феденька, поставила перед ним миску с отварной треской. «Кушай,— говорю,— горюшко мое, рыбку и не думай о том, что люди обманывают тебя. Они, по-моему, сами себя обманывают... А ты, Петенька, искренний и очень надежный человек, хотя и на мир однолико смотришь. У тебя, по-моему, все впереди...» И даже, Феденька, нисколечко не поморщилась, когда он одеколончика пригубил. А потом все про тебя рассказала. И про то, что ты, никого не спрашивая, в столицу уехал, и про то, что ты, так же как и Петька, перестал верить людям. Не так ли, горюшко мое? Об этом я подумала, когда ты написал, что тебе не игры, а правды охота. Я эти слова, Феденька, несколько раз перечитывала, так мне было приятно! Не зря, мальчик мой, мне приходилось ползать на четвереньках и разбивать в кровь колени, чтобы накормить тебя житным хлебушком. Я горжусь тобой, Федя, и очень скучаю... А Петьке Чумакову я так и сказала, что жду, мол, не дождусь своего внука, и еще сказала, чтобы Нюре он о тебе не болтал, иначе я его в дом пускать не буду. Ты напиши ей.

Обнимаю тебя, мальчик мой, приезжай скорее...

Твоя бабушка Дуня.

**8 сентября**

Здравствуй, моя единственная бабушка!

Еще вчера получил письмо, но ответить сразу не смог. Можешь поздравить меня, уже сдал все общеобразовательные экзамены и приказом зачислен студентом театрального вуза. Живу в том же общежитии, в той же комнате, с теми же ребятами.

Они говорят, что у меня способности есть, но их развивать надо. А как их развивать? Одни говорят — надо прилежно учиться, совершенствовать свой голос, движения, делать их более выразительными, а главное — репетировать как можно больше отрывков из пьес. Это мнение педагогов. Другие утверждают, что основное в актерском деле — практика в театре, у толкового режиссера, и ежели нет способностей, никакая учеба, никакой диплом не помогут. Третьи настаивают на том, что главное для карьеры актера — удачно жениться на дочери известного режиссера, или писателя, или еще какого-нибудь большого начальника.

Сомнения покоя не дают...

Сегодня днем зашел в продовольственный магазин, там са-мообслуживание. Смотрю, мой сосед по комнате, Эдик Сухомерко, тоже среди покупателей. Этот Сухомерко из Ленинграда, из интеллигентной семьи, по-моему, дома у него тьма книг, а в общежитие он привез целую библиотеку. Он мне не отказывает в интересных книгах. С деньгами у него тоже туговато, как и у меня. И вот я подхожу к Эдику со стороны столпившихся покупателей, а потом думаю, дай-ка я понаблюдаю за ним, зачем он в магазин пришел. Смотрю, мой сосед огляделся по сторонам, незаметно взял с прилавка три пачки сливочного масла, сунул за пазуху и пошел не к кассе, а туда где порожняком идут. Прошел мимо контролера, а за масло так и не заплатил.

Вот так Сухомерко! Вот так книголюб! Я тоже вышел из магазина и к нему: «Здорово, мужик!» Вижу, он сразу вздрогнул, насторожился, а я ему напрямик: «Эдик,— говорю,— я в магазине был... У тебя что, денег на масло нет? Так я тебе дам...» Он побледнел, воротник у куртки поднял, нахмурился. «Какое,— говорит,— масло?» — «Да то, что у тебя за пазухой».

Тут уж ему деваться некуда, он еще больше смутился, отвел меня в сторону и шепчет: «Федор, ведь ты понимаешь, что мы с тобой теперь избранные люди». — «Как это — избранные?» — удивился я. «В-вот так! Мы трудный конкурс выдержали! Значит, нам кое-что позволено...» — «Как это понять? Воровать, что ли?» Он сначала замялся, а потом вдруг нахально так ухмыльнулся и

говорит: «Для достижения высокой цели любые средства хороши, главное — цель высокую иметь! Ты знаешь, Федя... — Он оглянулся, отвел меня в глубь двора и заговорил уже громче: — Думаешь, почему нас из огромной толпы выбрали? Потому, что у нас цель великая есть! Правду чувств нести людям! Обнаженную, горькую правду, не приукрашенную благополучием, праздной сытостью, самовлюбленностью... Скажи, Федор, разве многие люди способны на это? Конечно, нет... потому нас и приняли...» А сам при этом как-то странно улыбается, и не поймешь, то ли он шутит, то ли всерьез говорит, то ли издевается надо мной. «А как же, Эдик, с честностью быть? — не мог успокоиться я. — Ведь ты же украл?!» — «Украл, чтобы выжить! — еще взволнованней заговорил он и вдруг сильно переменялся в лице: — Это не воровство, а самая обыкновенная борьба за достижение главной цели! А цель у нас, Федя, сам понимаешь, великая!» И ухмыльнулся.

В общем, родненькая моя бабушка, когда я вернулся в общежитие, то все тело мое словно свинцом налилось. Жуткая какая-то, невыносимая тяжесть внутри сковала меня, мешала двигаться, говорить, думать. Я с трудом добрался до своей койки, как подкошенный рухнул на нее. Мне было нестерпимо больно за Эдика, и в первую очередь за то, что человек ради высокой цели ворует. Разве можно сравнить, родненькая моя бабушка, этого начитанного студента из культурной семьи с нашим малограмотным Чумаковым? Разве бы Петька Чумаков смог украсть? Никогда! Хотя и вид у него оборванца-забулдыги...

На этом, бабушка моя единственная, заканчиваю письмо. Мне на товарную станцию идти надо. Туда, говорят, серную кислоту в бутылках привезли, а она при выгрузке оплачивается в два раза дороже. Есть возможность подзаработать. Придется две лекции пропустить. А вечером я в театр иду. Нам руководитель курса дал задание пересмотреть все столичные постановки...

Да, чуть не забыл! И грибы сушеные, и ягоды, и рыба уже на исходе. Так что по возможности пошли еще. Приехать пока не могу, совсем нет времени, да и денег тоже. Но ты, родненькая моя, не серчай. Ведь я о тебе все время помню и думаю, а при-

еду, как только смогу. Очень прошу тебя, передай мой адрес Нюре Суземцевой и скажи ей, родненькая, что я в столицу приехал учиться, а не дrolиться. И отбивать ей у меня никого не придется.

Обнимаю крепко. Обязательно передай адрес Нюре.

17 сентября

Милый Феденька! Солнышко мое единственное!

Вчера вечером опять Петька Чумаков приходил, по глазам — трезвый, а лицо мрачное, истомленное. «Ну что, — говорит, — бабушка, все одна живешь?» — «Вот, — говорю, — от Феденьки моего письмецо получила». Достала конвертик твой из-под подушки и протянула Пете. Он письмо медленно прочел, нахмурился еще больше. «Что, — говорю, — помрачнел, парень?» А он сидит, молчит, как будто не слышит. «Вот, Петя Чумаков, — не выдержала я, — какие на земле Сухомерки есть! Их государство бесплатно обучает, а они, как варнаки, пакостят, да еще так все обдумывают, что вроде они и герои. Ну, что молчишь, Петя, разве я не права?» — «Конечно, права, — сказал он. — Только масло — это такая мелочь рядом с другим воровством!» — «С каким же это другим? — удивилась я. — Откуда ты знаешь про другое?» Он помолчал опять и тихо так говорит, неторопливо, как будто слез близких боится: «Я, — говорит, — бабушка, чего только не знаю, потому как много за свою жизнь наездился, посмотрелся. Одно скажу тебе, чем больше город, тем больше жуликов». — «Да как же так, Петя, откуда они берутся еще больше?» — удивилась я. «От бездушия берутся, бабушка, — со вздохом пояснил он. — А этот Сухомерко — молодой, да ранний... У него уже, несмотря на воровские замашки, — великая цель есть. И он не один таков. Не дай бог, — говорит, — ежели у тебя внук таким станет!»

Ты слышишь, Феденька, о чем Петька толкует? Поэтому ради бога, мальчик мой ненаглядный, не позорь свою бабушку, да и деревню нашу... Я ведь знаю, Феденька, что ты глупенький еще. И Сухомерко твой крохотного ума, хотя и книгочей, а потому хочу вам сказать, что самая великая цель, даже у самых вы-

бренных людей,— это прежде всего честность. Без этого ни о каких великих делах не может быть и речи. Ни здесь у нас, в деревне, ни там у вас, в большом городе. Об этом в книгах мудрых людей сказано, и дедушка мой так говорил. Может, Петька Чумаков после долгих странствий поэтому опять в деревню вернулся, и про большой город он такое порассказал, что я всю ночь уснуть не могла.

А потом он мне опять на жену свою жаловался. В училище, говорит, медицинском она недоучилась, и работу подыскала не по душе, хотя и не пыльную, а самое главное, все, что было в ней человеческое, со временем куда-то улетучилось, и радость к жизни исчезла, и бескорыстная любовь к работе домашней, да и вообще к труду. Сначала в медпункте фельдшерилась, потом за длинным рублем на лесоповал бросилась, а затем заведующей совхозным клубом оформилась. Плакат, говорит, на вечерний киносеанс вывесит, замок амбарный на клуб нацепит — и ноги в потолок. Весь день тряпки импортные на уме, да с проезжими ухажерами знакомства. А ведь у нее талант в юности был. Не одного мужика после простуды на ноги подняла, не одному мерину раны от ушибов залечивала. А сколько собак и кошек из могилы вытянула! И все оттого, что жалость была и к людям, и к животным сострадание. А теперь! Петька говорит, что теперь — жизнеубийца она. Одни деньги на уме! Отсюда и холод у нее в душе появился, и ласка другой стала. Как будто, говорит, специально меня за кудряшки треплет, словно по просьбе чьей-то, грубо, бессердечно. А я, говорит он, все чую и тоже холодеть начинаю. Оттого и сердце косорыловкой согреваю.

Внучек мой, долгожданный, смилуйся над своей единственной родительницей, приезжай поскорей. Видишь, что происходит у нас?! А за тебя-то я как боюсь, вдруг и ты от горести какой к вину пристрастишься! Упаси бог!

Нюра Суземцева об тебе вся испереживалась, да поняла, что ты от деревни совсем отбиваешься. Дай, говорит, бабушка, адрес гуглены нашего — я ему такое письмо нацарапаю, живо в деревню прикатит. Я адрес твой отдала, и с плеч моих словно ноша свалилась. Подошла к оконцу в горенке, и почудилось мне, что

за окном уже белые мухи кружат и дорога на юг покрылась глубоким снегом. Вгляделась я в снежную заметь, и вдруг тебя, мой мальчик, увидела. Пробираешься ты сквозь снежные заносы и валежины, а на ногах у тебя сапоги точно такие же, как у Петьки Чумакова.

Ох ты, горюшко мое, выскочила я во двор, навстречу, глянула вдаль, а на дороге — ни снега, ни тебя. Одна осенняя сырость да тишь неохватная.

Феденька мой, не могу я больше жить одна, никак не могу, приезжай, голубчик мой! Сегодня выслала в столицу всю пенсию. Как только получишь ее — сразу билет заказывай и приезжай поскорей. Жду твоего приезда, со дня на день жду!

Обнимаю тебя. Бабушка твоя Евдокия.

**30 сентября**

Здравствуй, бабушка моя единственная!

Здравствуй, родненькая!

Перевод твой получил, письмо тоже. Спасибо тебе за все, только не могу я сейчас к тебе приехать. Потерпи немного.

Бабушка моя милая, со мной творится что-то непонятное. Как только я начал учиться в училище, во мне произошло какое-то жуткое перерождение. Я как будто очутился в другом мире, очень запутанном и совершенно безжалостном. Преподаватели на моем курсе почти все заслуженные педагоги, но, к сожалению, очень высокомерны. Это высокомерие сразу подкосило меня: каждый раз перед занятиями я почти дрожу только при виде своих наставников. А ведь мне перед ними играть надо, душу свою раскрывать, исповедоваться. А как можно довериться человеку, которому моя откровенность неинтересна. Трудно мне, бабушка, ох как трудно! Я чувствую, что не хватает мне и знаний, и образования, и культуры, а помочь некому.

Больше двух недель, начиная с первого сентября, я не мог себе места найти! Я ощущал свое бессилие перед всеми педагогами училища и с каждым днем все больше и больше томился их отчужденностью. Они, конечно, замечали мою подавленность, но никто не подошел ко мне, не попытался вызвать на от-

кровенность. Родненькая моя бабушка, учительница вековечная, знала бы ты, как мне здесь не хватает откровенных людей! Или хотя бы сочувственной незлой улыбки. И сколько бы лишений я ни пережил за три месяца экзаменационных волнений, как бы ни восхищался исповедальной актерской жизнью, но мне вдруг страшно захотелось бросить все на свете и уехать домой, к тебе на болотину, в наше ягодное суземье. Однажды я так и сделал. Собрал свой чемоданчик и поехал на Северный вокзал. И вот где-то позади себя, еще в троллейбусе, я вдруг увидел одну белокурую девушку с нашего первого курса. Сначала я не подал вида, думая, что она случайно едет по одному маршруту со мной. Но, выйдя у трех вокзалов на площади, я вдруг заметил, что она тоже сошла с троллейбуса. Это удивило меня, но я старался не обращать внимания на сокурсницу, потому что мысли были уже далеко, в нашей деревне. Тоскливо было у меня на душе, одиноко. С одной стороны, я понимал, что бросать институт глупо, легкомысленно — слишком много усилий было сделано, чтобы попасть в него, а с другой стороны, я все больше и больше убеждался, что понять, суметь раскрыть себя для других среди выскомерных, бездушных людей невозможно. Значит, учиться только ради диплома. Стоит ли? Я встал в очередь в кассу, и, когда до окошка осталось всего несколько человек, вдруг передо мной опять появилась моя сокурсница. «Здравствуй, Федор,— сказала она, не глядя в глаза.— Мне нужно поговорить с тобой». Я вышел из очереди, а она потянула меня за руку в сторону выхода. «Ты с ума сошел,— говорит.— А ну, давай вещи!»

Я пристально посмотрел ей в глаза.

Бабушка моя ненаглядная! Солнышко мое далекое! Знала бы ты, как ее глаза похожи на твои! Они такие же светлые, лучистые, несказанной доброты! Я внезапно почувствовал, что они греют меня, и вспомнил, что девушку зовут Вероника. Но я ничего не успел сказать ей, потому что она вдруг сама заговорила: «Ты славный малый, я хочу помочь тебе». — «Чем?» — удивился я. «Прежде всего я предлагаю свою дружбу,— с какой-то озаренной улыбкой вдруг проговорила Вероника.— А это означает,



что, во-первых, мы должны быть очень откровенны, а во-вторых — ни одной минуты для меланхолии».

Такое предложение я сразу принял, хотя и не очень все понял.

«В-третьих,— решительно заявила она,— сейчас же поедем ко мне». — «Зачем?» — «Ты что, боишься? Я хочу поговорить с тобой. Поедем!»

Настойчивость Вероники несколько насторожила. Я растерялся. Впервые за три месяца пребывания в столице я вдруг почувствовал, что не совсем одинок, и, поразмыслив немного, согласился поехать.

Родительница моя единственная, знала бы ты, как она живет! Книг у нее больше, чем в нашей сельской библиотеке, и не просто по школьной программе, а много замысловатых, даже удивительных книг. И все эти книги Вероника прочла. Словом, умница она, каких я сроду не видел! У нее график имеется, по которому она живет, и много литературы о лекарственных травах для лечения на дому, и даже платные учителя по французскому языку и орфоэпии. (Орфоэпия — это наука о правильном произношении слов.) Но самое удивительное в ее доме — маленькая собачка редкой породы. Она такая крохотная, что помещается в дамской шляпке, в которой Вероника ездит в училище. Собачку так и зовут — Крошка, хотя живот у нее в два раза больше, чем у нашей охотничьей Тайги. Чистота в квартире Вероники отменная. На стенах фотообои — обычные обои, с картинками. Картинки разные, но больше нарисовано яхт и легковых машин такого же цвета, как «Жигули» у Вероники. У нее, бабушка, две машины: одна — отцова, служебная, в ней Вероника в институт ездит, а другая — ее личная. Как только мы пришли к ней домой, Вероника сбросила свой легкий плащ, так я, бабушка, и не знал, куда глаза девать. Это не одежда, срам какой-то! И вела она себя очень смело: вдруг подошла ко мне совсем близко, села рядом в одно кресло и неожиданно поцеловала меня, да так долго, так сильно, что я не знал, куда от стыда деться, а ей — хоть бы что! «Ты,— говорит,— славный малый, и я давно наблюдаю за тобой. Ты мне чем-то дорог,

Федя... Давай,— говорит,— в ресторан сходим». — «Зачем?» — удивился я. «Неужто ты звала меня только для ресторана?» А она: «Неужели тебе не хочется выпить и поговорить со мной?»

Что ты на это скажешь, родненькая моя?! Вот как о нас, о деревенских, думают! Молодой, мол, здоровый, значит, наверняка пойдет водку пить! А потом что?! Кое-как отговорил Веронику от ресторана. Сбросила она свое огненное платье, халат домашний надела, тоже на одной пуговице, да с петухами во весь подол, и опять ко мне под села. «Тундра,— говорит,— ты. Ведь я оплачиваю все и шефство беру над тобой, иначе со своей дикостью тебе только на селе жить и работать там же. Ты знаешь,— говорит,— что педагоги о тебе думают?» — «Откуда мне знать?» — ответил я. «Не обижайся, Федя, но я должна тебя предупредить,— тихо и с какой-то задумчивой грустью неожиданно сказала Вероника.— Они решили, друг мой странный, что ты настоящий дебил (так тут дурачков называют), и постараются как можно скорее вытряхнуть тебя из училища, как профнепригодного. А я знаю,— взволнованно продолжала Вероника,— что ты не дебил и не шизофреник, а очень способный, очень своеобразный человек, только замкнутый чересчур, только слишком впечатлительный, слишком чуткий ко всем людям. Тебе не нравится, что у нас много блатных студентов. Так ты не думай об этом! Пусть они учатся на здоровье, а ты знай свое дело и помалкивай. Ты бесишься оттого, что старики педагоги ухаживают за молодыми девушками! Так пусть же и это тебя не волнует. Ты думаешь, я не понимаю тебя? — нервно заговорила она и осторожно взяла меня за руку.— Напрасно так думаешь! Ты не смотри, что мне двадцать два года, это на вид двадцать два. Узнаешь меня ближе — сорок дашь». — «Почему?» — удивился я. «А потому, что ты всего один раз поступал в институт, а я — четыре. Только четыре поступления у меня в четыре жутких года вылились. Когда я пришла в театральную студию первый раз, то мне еще на консультации сказали, что у меня нет сценических данных... Целый год я готовилась к следующему поступлению. Думаешь, мне легко было? Ду-

маешь, легко поступить в театральную студию без блата и удержаться в ней? Легко? Нет! Я тебе все расскажу... Ты обязательно должен знать всю историю...»

А началась история Вероники четыре года назад. Конкурс в театральные вузы был в ту пору огромным, впрочем, как и сейчас... Но Вероника была готова к любым испытаниям. Тем более что видела все мхатовские спектакли и даже выучила некоторые монологи наизусть. Особенно ей удавался монолог Нины из пьесы Чехова «Чайка». Она читала его повсюду, и дома, своим родителям, и на работе, специально устроившись реквизитором при народном театре завода «Серп и молот», а частенько просто в метро или в автобусе.

Именно с Чехова Вероника решила начать свое новое поступление в театральную студию. Ты не представляешь, бабушка, как она здорово декламирует! Во-первых, щеки ее становятся брусничными, губы горят, и вся она словно светится изнутри, во-вторых, глаза Вероники делаются совсем другими, какими-то необыкновенно искренними и очень воодушевленными. А голос у нее какой! Бойко она умеет петь, напористо, не хуже Нюры Суземцевой. Но хоть и способности у Вероники явные и, казалось бы, чего ей печалиться насчет поступления в театральную студию, но в том-то вся и беда, вся и трагедия актерской жизни, что настоящему таланту гораздо сложнее пробиться к признанию, чем человеку со средними способностями. Ведь настоящий талант сценический не только слухом редким наделен, голосом неповторимым, но и ходом мысли своеобразным. Талант, как я понял, дорогая моя бабушка, не может приспособливаться потому, что он талант. Он сам в себе двигатель нового самобытного смысла и актерского искусства.

Может, поэтому Вероника и на второй год не поступила в училище, хотя занималась с платными педагогами, и на третий год не поступила... И вот только этим летом, через четыре года после невероятных усилий и огромного душевного напряжения, в период подготовительных туров на нее обратил внимание один педагог, заслуженный артист. Оказывается, все четыре года, пока Вероника поступала в училище, он ею интересовался.

Но только через четыре года наконец-то решился поговорить с ней. Произошло это сразу же после предварительного тура. Обычно абитуриентам объявляют или вывешивают списки допущенных до определенного тура. Но вначале фамилии Вероники в списках не оказалось. И вдруг подошел к ней молодой преподаватель и вежливо попросил остаться до конца предварительного прослушивания. «Зачем?» — спросила она, с досадой раздумывая о том, что на будущий год поступать будет еще сложнее, потому что ей исполнится двадцать три года, а для студентки театрального училища — это возраст. «С вами хочет побеседовать руководитель курса», — так же учтиво ответил молодой человек.

В большом волнении Вероника ждала встречи. О чем только не передумала она за каких-то пятнадцать минут. Сначала ей показалось, что беседа с преподавателем училища будет последней в ее жизни. Потом она решила, что на этот раз ее предварительное прослушивание произойдет совсем в другом ключе и вполне возможно, что чтецкий отрывок ей могут предложить заменить на более героический или социальный.

Но все получилось так невероятно, так неожиданно, даже странно! Минут через пятнадцать он сам пригласил ее в аудиторию и, когда она вошла, не зная от волнения, как вести себя, долго молчал. И она, понятное дело, не могла заговорить первой. В руках этого человека была ее надежда, мечта юности, одним словом, судьба. И видимо, заметив ее смущение, уже седой преподаватель поднялся из-за экзаменационного стола, подошел к двери и, убедившись, что их никто не слышит, заговорил с Вероникой словно с дочерью. «Милая девушка, простите меня, но я должен сознаться, что уже давно наблюдаю за вами. Ведь вы уже четвертый раз пытаетесь поступить к нам, не так ли? Не бойтесь меня и не удивляйтесь, что я вас задержал после прослушивания. Но так было надо. Иначе... Скажите, вы любите театр?»

Этот вопрос озадачил Веронику, но она ответила точно так же, как отвечала многим своим знакомым: «Да, я очень люблю театр и готова сцене отдать всю жизнь». — «А на моих спек-

таклях вы были?» — очень смущенно и даже заметно покраснев, спросил он. «Была, и не один раз», — с радостью ответила Вероника, потому что действительно пересмотрела все спектакли с участием заслуженного артиста. После этих восторженных слов Вероника вдруг заметила, что лицо педагога сильно переменялось. Он задумался и еще раз пристально посмотрел на нее и неожиданно признался: «Я люблю вас, Вероника, давно люблю. И только разница в возрасте заставляла меня молчать об этом. Но я больше не могу молчать: мне шестьдесят один год, и тот идеал женщины, к которому я стремился всю жизнь, может остаться только в моем воображении. А ведь есть возможность прикоснуться к нему, назвать его своим счастьем. Поверьте мне, что это не просто увлечение. Такого со мной никогда не было... Сначала вы мне просто нравились своей редкой внешностью, но потом я понял, что в отличие от своих сверстниц вы обладаете удивительным упорством и всепоглощающей страстью к жизни. Я знаю, как трудно вам поступить к нам, потому что у вас расхождение внутренних и внешних данных... Но если вы ответите мне взаимностью, я сделаю для вас все, что в моих силах. Станьте моим спутником жизни! Одно только ваше согласие — и через месяц вы — студентка училища, а через четыре года вы играете в моем дипломном спектакле «Мария Стюарт»...

Такого поворота Вероника не ожидала. Трудно ей было ответить сразу, очень трудно. Но четыре года почти невероятных усилий сделали свое дело. Она вдруг совершенно ясно, совершенно отчетливо представила себя на подмостках театра, и не просто в главной роли, а в роли Марии Стюарт!

С одной стороны, она понимала, что пошло, даже омерзительно выходить замуж за старика, а с другой стороны, какой-то внутренний голос подсказывал ей, что минута воплощения давней мечты совсем близка: он уважаемый человек в училище, заслуженный артист, в этом году набирает очередной курс, и кто будет против, если он решится взять ее в свою мастерскую! Один худсовет может лишить его этого права, но и то только в том случае, если у Вероники не окажется даже маломальских спо-

собностей. Но ведь они есть! Иначе бы в прошлый раз она не дошла до третьего тура.

Несколько секунд Вероника ничего не видела перед собой, ничего не чувствовала, потому что в ушах ее звенели одни и те же слова: «Я сделаю для вас все, что в моих силах... Все, что в моих силах...»

И Вероника дала согласие.

Так она стала студенткой театрального училища.

Видишь, дорогая моя бабушка, какие трудности лежат на пути поступающего в театральную школу, и трудности совсем не такие, о которых я думал.

До поздней ночи просидел я у Вероники. Она подробно рассказала о своем свадебном путешествии на Черное море, потом заговорила обо мне. «Ты,— сказала она,— явление, точнее — самородок, который к обычным неодушевленным предметам относится так же, как к живым и очень ранимым существам. Мой муж говорит про тебя, что ты — человек идеальной гармонии души и слова. Что у тебя в каждом звуке душа чувствуется...» — «Но постой! — перебил я ее.— Почему же мне об этом он сам не сказал? Почему глядит на меня с таким высокомерием, когда я играю?» — «Да я тебе больше скажу! Он собирается исключить тебя! Когда он сказал мне об этом, я сама удивилась. Почему, спрашиваю...» — «Потому что он малообразованный, слишком своенравный... Грубит к тому же... Культуры ни на грош! Как мы,— говорит,— приняли его единогласно, так и отчислим сообща...»

Вот такая история, бабушка моя драгоценная. Передумал я уезжать. После встречи с Вероникой мне совершенно ясно стало, что учиться дальше просто необходимо... Я должен обязательно закончить училище. Я должен доказать, что у меня есть талант. И я докажу, обязательно докажу! И поэтому, милая моя бабушка, приеду я, наверно, очень не скоро, потому как, сама понимаешь, теперь каждая минута дорога... В училище надо обязательно удержаться... Но тяжело, ох как тяжело... Да еще эта разгрузка вагонов...

Сегодня ночью, придя в общежитие, я так устал, что не смог

снять ботинки, такими они показались тяжелыми, такими несъемными. Ну, думаю, сейчас как брошусь на кровать, так и провалюсь до утра. Но не тут-то было! До четырех часов уснуть не смог. Мерещилось бог знает что! И уже не деревня наша мелькала перед глазами, а люди, земляки мои, все-все до единого, до самого маленького человечка, до самого незаметного, но родного, кровного... Дядю Ваню нашего покойного вспоминал. Уже под утро, в пятом часу, он мне приснился. Присел ко мне на кровать, спрашивает:

— Ну что приуныл, Федя? Или не можешь поверить в то, что я еще жив? Зря не веришь! Может, дядя твой телом и отошел в мир иной, а вот дух его совести еще жив! Потому как он у него от великого народа исходит. А раз дух его совести жив, то и вера еще жива в народе, только не пойми, что в господа бога! В бога верят те, кто людям не верит, да и в завтрашнем дне сомневаются.

— А кто же не верит людям? — не мог удержаться я. — Может, кто-то из моих знакомых, друзей? Скажи, дядя Ваня, пожалуйста, скажи! Может, эти люди обманывают меня, а я верю им и поэтому понять не могу, где правда, а где ложь?!

Дядя Ваня долго молчал.

— Кроме легенды, я тебе ничего не скажу, — вдруг тихо, почти шепотом заговорил он. — А насчет веры в людей твоя бабушка не меньше смыслит. Она, как говорится, за версту чует безверного человека. В этом сила твоей бабушки, долговечность. Только ты, Федор, ее не забывай, иначе она не выдержит и тоже покинет деревню, только уже не к тебе в город переправится, а ко мне на погост. А теперь послушай легенду поморскую и подумай хорошенько, как дальше жить... — Дядя опять замолчал, задумался и, осторожно раскрыв окна комнаты, начал свой рассказ, да так громко, словно обращался не ко мне, а ко всем людям, проходящим мимо окон общежития.

— Жил мужик на поморье, беден, говорят, был, как ярыжник, да и грамоты не знал... И вот однажды, когда закончилась неудачная путина на корюху, а на зверобой пороху не было, сколотил он легкий баркас, поставил его на воду, да и поплыл воль-

ной птицей на все четыре стороны. Одно желание было у него... Выжить, только бы выжить! А от мудрых стариков прослышал он, что воля-вольная сильным людям приносит счастье, а слабым — неотвратимую гибель. Но испытать эту премудрость можно только в большом городе. Вот и поплыл бедный Макар, подгоняемый голодом да призрачным счастьем, в край неведомый. Осьмнадцать дён плыл... Осьмнадцать дён одной рыбой питался да грибами сушеными. А на девятнадцатый день разбушевалось Белое море и спросило: «Куда плывешь, ярыжник?» — «В город,— лихо ответил Макар.— Хочу свое счастье на вольной-волюшке испытать!» Запенилось Белое море, заликовало студенными волнами: «А с чем ты в город собрался? — спрашивает.— Город дары любит... Семга есть?» — «Нет,— ответил Макар,— нынче нерест обошел наши места стороной».— «А жемчуг беломорский есть?» — спросило Белое море. «И жемчуга нет... Мы его у новгородских ушкуйников на хлеб обменяли, потому как без жемчуга можно жить, а без хлеба нельзя».— «Так с чем же ты в город собрался, шатун бородатый?» — удивилось Белое море. «С душой отзывчивой, справедливой,— бойко ответил Макар,— да жаждой неистойовой новую жизнь познать!»

Притихло море, прислушалось к сердцу настырного трескоеда, да и подарило ему попутный ветер до самого города. Дивился Макар на выси белокаменные, на часовни поднебесные, на гранитные берега, как сон возникшие перед ним. А когда баркас подошел к набережной городской, то море опять спросило: «Не страшно ли тебе, мужик? Не хочешь ли опять в деревню?» — «О ней теперича и думать не хоца,— ответил взволнованно он.— Мне город нужен, дома великие, рынки с красной рыбой да с синей зобаткой, люди грамотные — жить среди них хочу, книги мудрые хочу читать научиться, с девушкой чужеземной познакомиться».— «Ну что ж,— ответило море.— Радуюсь твоим желаниям. Дай бог тебе счастья! Только не забывай про душу свою, да помни, что любой мужик в ярости как шатун безумный — сам на рогатину прет».

И вынесли волны поморский баркас прямо ко главному причалу. Сияло лицо Макара, словно красное солнышко в морозный



день. Поднялся он на городскую набережную, рубашку домотканую оправил, а городские таможенники тут как тут: «А ну, мужик, пошлину за въезд плати!» — «За что?» — удивился Макар. «За то, что приехал!» — «Так ведь я в город, не к вам». — «А мы кто?! — не отступались таможенники. — Мы на службе у города, за въезды и выезды отвечаем...» — «А ежели, братцы-кролики, у меня денег нет? — возмутился Макар. — Может, вас грибами сушеными угостить? Или рыбы неводом натаскать?» — «Чего? — обрушились на него городские. — Ты что, еще и ловишь здесь? Тогда двойной штраф плати!» — «Да как же, люди добрые, — взмолился Макар. — Ведь я же своими руками таскаю!» А городские ему: «Хоть лаптем таскай, а штраф гони, потому что отлов для таких, как ты, запрещен!» Покуксился Макар, огляделся по сторонам белокаменной набережной, да и снял с себя домотканую рубаху вместе с нерпичьим ремнем. «Возьмите, — говорит, — злые псы, только в город пустите».

Целый день Макар на торговые ряды глазел да людей городских высматривал, пороху на сушеные грибы выменял, дробы заводской присмекал, а потом, когда ночь пришла, спать-то негде, кругом плата нужна: за ночлег — плата, за вход в питейный дом — плата... Шалаш хотел поставить у торговых палат — деревья рубить нельзя. На чердак высокого дома полез — тоже запрет. Помыкался Макар, постранствовал по городу, да и опять в баркас вернулся.

Дядя Ваня умолк, загрустил, потом тихо сказал:

— Вот он какой, город, Федя, — с виду красивый, нарядный, да только самая еле заметная красота денег немалых стоит. Посмотрел на все это Макар, да опять в деревню решил вернуться. За пошлину при выезде последние грибы из лукошка высыпал, отшвартовался — и в море...

Только разбушевалась на этот раз стихия, завскидывала пенистые волны выше мачт, и ветер студеный остановил баркас. «Что, мужик, города испугался? — грозно спросило море. — Городских вельмож струсил? А где же жажда твоя неистовая к новой жизни? Где силушка твоя мужицкая, душа неохватная, справедливая?» — «Все при мне, — растерянно ответил Макар. — Успо-

койся ты, море Белое. Почему баркас мой, как щепку, бросаешь?» — «Трусости твоей удивляюсь,— гневно ответило море.— Знаешь ли ты, Макар, что город белокаменный, да и море студеное, могут погибнуть без души твоей справедливой?» — «Как это?» — растерялся Макар. «Эх ты, чудо деревенское! — зашумело Белое море.— Неужели ты не заметил, что город бездушным стал?! Ты посмотри, как люди, живя там, обманывают друг друга! Как они притворяются тружениками, занимая доходные места в каких-нибудь бумагомарающих канцеляриях,— перескзывать невозможно! Неужто ты не заметил, как они пытались снять с тебя последние ремни, а почуяв, что ты нищий ярыжник, лишить тебя самого необходимого?» — «Конечно, заметил,— вдруг громко выкрикнул Макар.— Но знали бы вы, волны морские, знали бы острова Соловецкие, как мне было противно наблюдать за жизнью города. Я видел, как люди уничтожали огромные вековые деревья и строили на вырубленных местах каменные, совсем не приглядные жилища! Я видел, как богатеи кормили своих дворовых псов парным мясом, а бедняки довольствовались пустой похлебкой! Я видел трапезные, в которых обедали только богатые, но слишком бесчестные и бездушные люди, а рядом, в питейных домах, толпились простые мужики, у которых в жизни была одна-единственная отдушина — водка. Напившись, они ругали совесть людскую и, уходя на работу, совсем забывали о том, что труд должен приносить не только кусок хлеба, но и радость душевную. «Иди к нам трудиться,— кричали они окрипшими голосами.— У нас ты будешь всегда пьян и весел. А если бросишь пить и задумаешь разбогатеть, то мы научим тебя не только пить водку, но и обманывать людей! А когда ты разбогатеешь и станешь опытным обманщиком — мы построим для тебя огромный дворец со стеклянными стенами. Но тогда ты не жди от нас добра. Мы бросим свои работы, возьмем в руки топоры, вилы, лопаты, ворвемся в твой дворец и уничтожим его вместе с тобой! Так что выбирай — или долю бедных, но честных людей... или участь богатых людей, но потерявших всякое человеческое лицо!»

Я был сильно потрясен таким предложением, что же мне

оставалось делать в таком страшном городе?! Умоляю вас, волные морские, не губите моего баркаса, пустите обратно домой! — И Макар в отчаянье упал на колени.

Но тогда грозные волны забушевали еще неистовее, а жгучий порывистый ветер Сиверко начал яростно задувать баркас опять к городской набережной. «Скажи, Макар, зачем тебе душа твоя честная, справедливая, вскормленная поморской мудростью, добротой, если она мертва? — гневно зарокотало море. — Ты видел зло своими глазами... Ты отлично знал, как избавиться от него, и так позорно возвращаешься назад! Не бросай город в беде. Пойми — сегодня только в городе люди обманывают и убивают друг друга, а завтра и до нас вековых доберутся — до меня, моря Белого, до моих сказочных островов, птичьих базаров, тенистых заводей. А тогда не только город, но и вся наша исконно русская земля делается слепой, бездушной. Ты должен вернуться обратно и доказать городским людям, что надо жить совсем по-другому. Ты обязан убедить их в том, что на свете есть и добро, и справедливость, и щедрость бескорыстная. Ты обязан доказать, что человек трудится не только для куска хлеба, но и для расцвета души своей!» Дрогнуло сердце Макара, прислушалось оно к взволнованному морю, берегам соловецким. «Значит, от бездушия идет гибель, а не от бедности! — закричал он. — Значит, напускная красота губит людей, а не страсть к жизни! Горе всей земле, ежели она не поймет этого!» — «И тебе горе, Макар, — вторило ему Белое море, — и всей земле русской горе, если ты отступишься от города и не раскроешь перед ним тайну совсем иной жизни».

И тогда развернул Макар свое утлое судно вспять и, подгоняемый северным ветром, помчался обратно к городу.

— И с того далекого времени, как только задует Сиверко, — продолжал дядя Ваня, — летят поморские корабли навстречу белокаменной набережной, сидят в них мужики русские, и в глазах одно желание — спасти город. Попутного ветра и тебе, Федор!»

Вот какие сны тревожат меня нынче, моя бабушка дорогая!

Наверное, и в самом деле не от бедности погибель идет... скорее от бездушия!

Проснулся я в седьмом часу, глянул в окно, а на дворе снег. Бабушка моя драгоценная, как же ты зимовать без меня будешь?! Кто тебе водички с реки принесет? Кто пешней лед будет колоть? Старость у нас в почете, да только все мужики нынче больше к молодухам тянутся. Таких, как Петька Чумаков, мало осталось. Как бы мне приехать к тебе! Хотя бы на один день, хотя бы на часок! Я бы и воды натаскал, и хлева бы все вычистил, и бересты из леса на растопку принес, и веников березовых. Но больше всего меня тревожит баня. Я хоть и поднял ее из сырости, родненькая моя, но нижние венцы у баньки совсем худые: два века им, а это, как известно, для сосны возраст. Надо бы на листву баньку поставить, да только где возьмешь ее?! Нынче хорошее дерево дороже камня. А вдруг у баньки пол провалится! Ведь ему тоже большой срок! Милая бабушка, вековечность моя ненаглядная! Душой я с тобой все время, а живу вот уже несколько месяцев здесь и никак не могу выбраться из этого круговорота.

Вчера после занятий по мастерству актера ко мне подошел руководитель курса и сказал, что я не полностью отдаю себя сценическому переживанию. А это может сказаться на актерском мастерстве. О чем, говорит он, ты все время думаешь на лекциях? И я ему ответил, родненькая бабушка, что все время думаю о тебе, о нашей деревне...

Ну да ладно...

На этом письмо заканчиваю и со дня на день жду ответа.

Обнимаю тебя.

Твой внук Федя.

14 декабря

Здравствуй, Федор!

Пишет тебе твоя землячка, Нюра Суземцева. Ты, наверное, меня и звать как позабыл, потому как я так и не дождалась от тебя письма. Но вся деревня, в том числе и я, отлично помним горемыку нашего. Полгода прошло для нас, совхозных, словно

день один, потому как мы от зари до зари то в поле, то на скотнике, а для бабушки твоей эти полгода ожиданий вечностью стали. Хотела я написать тебе еще раньше, еще месяц назад, но, видно, не судьба. Я так же, как и бабушка, Евдокия Степановна, ждала от тебя радостной весточки, но так и не дождалась. А потому письмо мое будет суровое и, наверное, единственное. Я его, Федор, сердцем выносила, обиженным, изболевшимся сердцем. Поначалу было у меня желание написать тебе злючее-презлючее письмо. Впрочем, такое резкое послание я уже нацарапала еще месяц назад, сразу же как твой адрес узнала. Но потом подумала, что ты, наверное, не один виноват. Уже второй месяц начался, а я все думаю, прикидываю, решаю... Может, это время и не было бы для меня таким мучительным, таким невыносимым, но вся беда в том, что я сама, как говорится, подбросила масла в огонь, и от этого раздумья мне еще горше. А решилась я на это сначала в гневе, чтобы хоть как-то наказать тебя, а потом вдруг поняла, что ты и так судьбою обижен и наказание мое по сравнению с ее ударами капля в море. Но об этом потом...

Нынче же я пишу лишь только от жалости. Ведь я, Федор, не только тебя любила, но и бабушку твою. Ведь она, Евдокия Степановна, подняла тебя на ноги, обула, одела, на шофера выучила.

Долго я злилась, Федор, после твоего отъезда... Даже с Петькой Чумаковым из-за тебя поссорилась. Как-то он, еще до сенокоса, подошел к моей летней горнице и давай палкой по наличникам окна барабанить. Бряк да бряк. Стукнул раз шесть, а на седьмой прямо по стеклу угодил. Тут уж я не выдержала, выдернула из запечья батькин дробовик и во двор. Время уже осеннее стояло, темное, звезды на небе словно тусклые свечи горели. Выскочила я на крыльцо, кричу: «Кто там!» Молчание. Ну, думаю, может проверка для грабежа! Сначала окосячины простукали, есть ли в избе кто, а потом — стекло вон и в горницу за иконами. Ну, думаю, я вам покажу пресвятую Богородицу! Взяла и выстрелила прямо из двух стволов под окна рубленки. Мои родичи сразу же словно горох на улицу высыпали: отец с винторезом в руках, и мамка с фонариком, и сестры, со-

плюшки босоногие, и даже дедка Афон в одной руке с лучиной, а в другой со спичками. Двор осветили, а под самым углом избы Петька Чумаков весь в кровище лежит, и трудно понять, то ли выпивши, то ли дробью ошарашен. Весь от страха трясется, и за пазухой у него не бутылка водки, а маленькая бутылочка с соской. «Вы что? — забормотал он, как только очухался. — Без всякого предупреждения в человека стреляете! Так и убить можно!» А лицо и шея у него в крови, потому как дробью прямо по ушам шаркнуло. «Ты,— говорю я ему,— сообрази, в чем дело, зачем по ночам шляешься, да в окна мирных домов барабанишь?» А он мне бутылку с соской протягивает. «Поздравить,— говорит,— тебя хотел, Нюрочка Суземцева, как давнюю подругу поздравить... Ведь я же знаю, что ты от Федьки Ласточкина ребеночка ждешь. Вот и принес подарок». Я так и обомлела от его слов. «С чего,— говорю,— ты взял, Петька, что я от Федора Ласточкина ребеночка ожидаю?» А он вдруг встал на колени, да как залется жгучими слезами, прямо при родных моих. «Я,— говорит,— все знаю, потому что люблю тебя, ненаглядная моя Нюрушка! Понял я, что Федька твой больше никогда не вернется в деревню, потому что нечего ему здесь делать, коли он в артисты подался». Ох, как налетела я на него, Федя, после этих слов! Ох, как я отхрюпала его тем же самым дробовиком, несмотря на кровяную и простреленные уши! Мои родичи даже оторопели. «Ты,— говорю — у своей Галеньки как Христос за пазухой живешь, водку каждый день ваганами \* галюзишь, словно варнак шальной, и на уме-то у тебя один топор да рубанок, а Федор Ласточкин, не в пример тебе, учится в столице! А ведь он такой же, как ты, сирота!»

Выпала я эти слова последние, и сразу же мне ясно стало, почему ты с наших суземок стронулся. Милый друг мой, дрожюшко мое несусветное! Ведь ты же один теперь остался, совсем один! Закрою глаза и вижу тебя: словно желтый листик, трепещешь ты от холода и ветра, а ведь уже зима в разгаре. Из нашей калиновой поймы сегодня утром последний чирок вы-

---

\* В а г а н — деревянный ковш (местн.).

порхнул. Не ровен час морозы грянут, а тогда без теплых катанцев и за водой на речку не сбегаешь. Прорубь-то нынче решили посередине реки рубить, потому как от всякой химии и удобрений пакостных плохая вода у берегов стала. Даже чай с индийской заваркой нефтью отдает...

А теперь, Федор, сиротинушко мой незабываемый, приготовься выслушать от своей землячки самое горькое, самое непоправимое сообщение. Начну по порядку. Дело в том, что еще месяц назад, получив от тебя последнее и очень грустное письмо, твоя бабушка, Евдокия Степановна, не стерпела и пришла к нам в дом, да так и не вышла из него... Вот уже месяц прошел, а я помню каждое слово твоей бабушки, каждый вздох.

Евдокия Степановна пришла к нам еще в первой половине дня примерно через два часа после почтальонши Тони. Помню, стоял ясный, осенний день, на дворе было тихо, безветренно, а от церквушки нашей словно малиновый звон катился. Ну, думаю, есть же минуты, когда жить вдвойне хочется, и кажется тебе, что и ты, и эта деревенская красота несказанная вечны. Но только я подумала об этом, как вижу — Евдокия Степановна к нашему дому подходит, и не со стороны своей деревни, а со стороны церквушки Кирики-Улиты. Что-то неладное случилось, сразу смекнула я, и вышла к ней навстречу, словно в предчувствии каком-то. Подхожу ближе и вижу — лицо у бабушки белое как снег, а в руках твое письмо. Я уже решила, что ты заболел, Федя, или, того хуже, под машину попал. А она, Евдокия Степановна, еще не дойдя до нашей огорода, еще с болотины кричит: «Нюрушка моя ненаглядная! Суземлица православная! Выручай моего гулену из беды, не то погибнет он в большом городе, совсем погибнет!» Я к бабушке бегом. «Что случилось, Евдокия Степановна? Неужто повестка в суд?! Неужто Федор наш с городской шпаной связался?» А она мне: «При чем тут повестка! Какой суд к лешему! Дело-то хуже... подумать лихо. Федя-то на артиста учиться вздумал, в училище специальное поступил. Только чует мое сердце, не для него оно и он с душой своей отзывчивой не ко двору пришелся. Пропадет он, девка, пропадет!..» Схватила я бабушку под руку и повела в дом. «Показывай,—

говорю,— Евдокия Степановна, письмо. Хватит кукситься...» Она пошелестела твоей писаниной, а сама левой рукой за сердечко хватать да хватать. «Что,— говорю,— Евдокия Степановна с сердцем?» А она: «Ой, Нюра, выпорхнет! Ой, выпорхнет!» — «Да что же такое с вами, бабушка,— забеспокоилась я,— ведь вы же еще вчера с колуном пястались... Поленницу дров отмахали. Неужто письмо так сильно подкосило?» А она присела на голбец русской печки — лицо жалобное, в глазах слезы, а в правой руке твое письмо. Достала я из шомуши \* медный ковшик, зачерпнула студеной воды из кадушки и плеснула на Евдокию Степановну. Она вздрогнула сразу, посмотрела на меня испуганным взглядом, да как заплачет. Тогда я взяла бабушку под руки, положила ее на свою кровать, а сама с письмом ближе к свету. Пробежала глазами первые два листка, а как до того места дошла, где ты свою Веронику с бабушкой единственной сравниваешь, тоже расплакалась... Эх, Федор, Федор, до чего же ты докатился! Какую-то бессовестную шушеру, у которой на уме одни рестораны да женихи, такие же распутные, как она сама, с бабушкой нашей сравниваешь! Да бабушка наша, Евдокия Степановна, вековущий с одним супружником прожила, четырех сыновей воспитала, в том числе и батьку твоего, без вести пропавшего на фронте. Да она — сама чистота несказанная! А твоя Вероника кто? Выдра городская, прошмандовка! Да на ее доме фонарь красный надо повесить и всем показать, что здесь живет девка, которая честь свою продает. Эх ты!

Прочитала я письмо, и слез не могу остановить. Вот ведь беда какая, и здесь ты сиротой был, Феденька, и там тебе еще хуже... Один-одинешенек... на весь белый свет один, а нынче и тем более...

Ведь я любила тебя, Федор, больше жизни своей любила, а теперь не только люблю, но и жалею. Ты же круглый сирота теперь, а ведь беда к беде липнет. В общем, миленький мой, ненаглядный мой сиротинушка, крепко наревелась я, прочитав твое письмо, а потом, когда подошла к кровати, на которой бабушка

---

\* Ш о м у ш а — запечье (местн.).



твоя лежала, — то было уже поздно. Расстегнула я пуговики на ее кофте, прислушалась к ее сердечку — и опять заревела. Сердечко-то у нее словно каменным сделалось. Бросилась я за фельдшером, а отец мой подошел к Степановне, потрогал ее голову — и тоже побледнел. Фельдшер, говорит, теперь только для проформы нужен. Для составления акта... Ты, говорит, сначала на почту беги, телеграмму дай своему непутевому жениху о том, что бабушка его померла, а потом уже к фельдшеру ступай. Выскочила я на улицу, а сама думаю: теперь уж, видно, моему Феденьке не до бабушки, а ежели и приедет на похороны — наверняка не один, а с этой самой Вероникой. В общем, друг мой единственный, дролюшко мой пропащий, прости меня! Не стала я посылать тебе телеграмму, обиделась крепко... Так что вот такие дела, Федя... Похоронили мы Евдокию Степановну девятого ноября, сразу же после Октябрьских праздников, со всеми почестями и торжественностью. На кладбище вся деревня была, и многие вспоминали тебя недобрым словом, а я слушала упреки в твой адрес и плакала. Еще раз прости меня, Федя, за глупость мою и, ради бога, не думай, что я не хотела тебя видеть. Наоборот, очень хотела, но боялась, что ты другим стал. Боялась, что не узнаешь и в мою сторону даже не помотришь. И за бабушку Евдокию Степановну, которую ты, Федя, не уберег, уж больно горько и обидно мне.

Каждый день я перечитываю твое письмо, да все о тебе думаю, пожалуй, и понимать тебя стала, и, видно, время придет, прощу. И за бабушку нашу, и за себя. Только сразу, Федор, не могла я измену твою понять. Как мог ты бросить Евдокию Степановну и меня?! Да уж, видно, жизнь — она суровее, чем я думала, и, наверно, разная она везде, хоть кругом и похожие люди живут. Наверно, каждому свое место в жизни. Может быть, ты и на правильном пути, и место свое лихо ищешь — у тебя, Феденька, и вправду талант есть, я верю, что есть.

Желаю тебе счастья, Феденька, и удачи, а трудно будет, помни, что мы, суземляки, всегда примем тебя, и работу дадим шоферскую, и машину не худую, и поле под картошку выде-

лим, потому как еще все помнят, что ты внук нашей любимой бабушки, да и в деревни теперь многие из городов возвращаются. Прощай, друг мой давний, желаю успехов тебе.

Твоя Нюра.

## ВАНИНО МАСЛО

— Ванька, вставай! Морду бить буду...

Иван Частоколов перевернулся на другой бок, оглядел темную горницу и только сейчас сообразил, что ночевал не у себя дома и не у Клары Рогожиной, своей синеглазой невесты, а совсем в другой деревне.

Он медленно поднялся и молча подошел к ушату с водой. Иван так устал за последние дни, что ощущал тяжесть во всем теле. Голова кружилась.

— Ты что рывкаешь,— пробурчал он, испив из ушата два ковша студеной водицы.— Я ведь двадцать ден без выходных пашу!

Бригадир молча достал из-за пазухи целлофановый пакет, вытащил из него кусок сливочного масла и вмазал его Ивану в физиономию.

— На днях ареста жди! — пригрозил он.— А к молоковозу теперь не прикасайся!

Иван закашлялся, отпрянул в сторону, но все-таки проглотил малую толику масла и, сморщившись, побежал во двор.

Когда он вернулся в горницу, бригадира уже не было. Только масло желтело на широких половицах старинного поморского дома, да на деревянном стуле лежал скомканный целлофан. Частоколов дрожащими руками развернул его и, лизнув оставшиеся на целлофане желтые пятна, брезгливо поморщился. От масла несло бензином. Иван, тяжело вздохнув, устало опустился на стул и долго сидел согнувшись, будто на него ввалили несколько мешков муки. «Ну при чем здесь я?» — размышлял он и вдруг вспомнил...

Два дня назад Иван сильно мучился простудой: хрипел, кашлял, всю ночь не спал, а утром решил идти к врачу. Но не успел он очухаться от бессонницы, как в его доме, точно так же, как сегодня утром, появился бригадир и срочно приказал ехать за молоком в Соену. Отказываться было никак нельзя, потому что другой совхозный молоковозчик в это время отсутствовал, а совхоз и без того не выполнял план по молоку.

На улице всю ночь шел дождь с мелким колючим снегом, ехать пришлось по разбитой колее. После трех километров изнурительного пути Иван так занедужил, что остановил машину прямо на дороге и отправился на перекур в ближайшую избу.

В избе его встретили хорошо: угостили солеными груздями с картошкой, а для улучшения самочувствия поставили на стол чашку крепко заваренного чая. После этого хозяин двухэтажной рубленки Матвей Демьянович попросил его на обратном пути отлить литров тридцать молока для только что родившейся холмогорской телушки. Частоколов, конечно, отказал, убедительно растолковав, что совхоз и так в тяжелом положении со сдачей молока. Тогда хозяин предложил еще одну чашку чая, только уже с «напитками», но ответ получил тот же.

И вот сейчас Иван вспомнил, что после Большой Калины у него пропал шланг для перекачки молока. Иван не сомневался, что открутил его хозяин того самого дома. Надо было либо возвращаться за новым шлангом в механический цех, либо ехать обратно в Большую Калину и, пристыдив старика, отобрать пропажу. Но молоко в Соене за это время могло испортиться. Кроме того, ни на то, ни на другое не было ни сил, ни времени. И тогда Иван решил задачу по-своему. Недалеко от Соены геологи бурили скважину. К ним и обратился Частоколов. Шланг удалось выпросить. Но какой?!

Только теперь он сообразил, что геологи могли перепутать шланг и дать ему из-под бензина, да еще с остатками горючей смеси внутри. А он даже не догадался понюхать его.

Припомнив все это, Иван Частоколов быстро привел себя в порядок, умылся, причесался и, поблагодарив хозяйку дома за ночлег, опрометью бросился в сельмаг.

На высоком крыльце сельмага никого не было, только две огненно-рыжие собаки, уютно развалившись у входа, терпеливо дожидались первых посетителей.

Иван крадучись, почти бесшумно открыл дверь магазина и, войдя внутрь, облегченно вздохнул.

В сельмаге, кроме молоденькой продавщицы в импортных очках, тоже никого не было.

— Здравствуй, уважаемая, — стараясь говорить как можно тише, начал Иван. — Масло есть?

— Пока есть.

— Взвесьте грамм сорок.

— Что так мало? — улыбнулась продавщица.

— Сперва попробовать надо, — глухо выдавил Частоколов, — а потом уж покупать...

— А чего пробовать? Масло наше, совхозное, по всему району славится. После большой взбойки его и то не всегда пробуют, а вчера всего три ящика приготовили специально для нашего магазина.

Иван безрассудно глянул на свежее масло, с грустью протянул последнюю мелочь, оставшуюся после покупки подарка в честь Клавиного дня рождения. Затем сунул сверток в карман и быстро вышел из магазина.

Рыжие собаки пошли следом.

«Масло чуют, — подумал он. — Может, оно и хорошее, может, бригадир разыграл...»

Не в силах больше мучиться догадками, он почти добежал до первой лодки, опрокинутой вверх дном, уселся на нее поудобней и, достав из кармана сверток, развернул его. Сначала он только понюхал, затем осторожно лизнул, еще не веря мерзкому запаху, а потом положил масло целиком в рот. Он хотел сразу проглотить его, чтобы убедить себя в том, что оно вполне съедобное и даже вкусное, но комок не лез в горло.

«Значит, крышка!» — решил он, выплюнув несъедобный про-

дукт. Собаки тут же набросились на масло, обнюхали его со всех сторон, но есть не решились и разочарованно ушли прочь.

Иван остался один. В ноющем сердце опять зазвенели слова бригадира: «На днях ареста жди!»

Неужели тюрьма?! Неужели проволока колючая?!

Иван резко поднялся с лодки и опять пошел в сельмаг.

В магазине по-прежнему было пусто.

— Слушай, принцесса,— обратился он к продавщице.— Масло кто-нибудь покупал, кроме меня?

— Покупали... Бригадир еще утром да Чижик из Большой Калины. А в чем дело?

— Дело в том, что...— Иван не знал, с чего начать.— Коротче, Глафира, будь другом, не продавай его! Оно порченное...

Продавщица отрезала от бруска крохотную дольку масла и, попробовав его, поморщилась.

— Чуешь, отравка какая?!

— А что делать теперь? Все равно продавать надо.

— А я говорю — не надо. Людей отравишь... Сам выкуплю. Я испортил, мне и горевать... Сколько этот брусок стоит?

— Шестьдесят один рубль,— удивленно ответила Глафира.

— А остальное масло на сколько потянет?

— Сто пятьдесят,— растерянно буркнула продавщица.

— Тогда вот что. Спрячь его подальше и жди, когда я деньги раздобуду. Только, ради бога, не продавай!

Иван, словно ошпаренный, выскочил из магазина.

«Только бы ветеринаршу застать,— лихорадочно соображал он.— Только бы уговорить ее сейчас же, не теряя времени, осмотреть мою поросюху! А если Аглаиды Поликарповны дома нет? Тогда к Чижикку побегу, займы просить буду... Не даст, корову продам!»

Но самый уважаемый человек в деревне, местная ветеринарша, Аглаида Поликарповна Толстоцкекова, оказалась дома. Он заметил ее еще с другой стороны улицы, потому как роста она была выше среднего, да и объема редкого.

— Аглаида Поликарповна! Помогите! Деньги позарез нужны! Дайте займы двести десять рублей!

— А зачем тебе двести десять рублей? — Аглайда Поликарповна работала на огороде и, не отрывая глаз от грядки, с достоинством перевернула лопату конского навоза.

— Баню в Большой Калине хочу купить,— неуверенно соврал Иван.

— У кого же это?

— В Чижиковских угодьях...

— Ну что ж, Ваня, дело хорошее. Только денег у меня нет.

— Тогда помогите, Аглайда Поликарповна, в самом необходимом! Сделайте заключение о здоровье моей единственной поросюхи! Справка нужна...

Только теперь ветеринарша оторвалась от лопаты и пристально посмотрела Ивану в глаза.

— У меня выходной сегодня, завтра приходи.

— Мне завтра ни к чему,— не отступался Иван,— нынче рубль дорог.

— Я же тебе русским языком сказала: не могу сегодня, занята я.

Но Иван все-таки отважился забить поросенка и сдать свинину в сельмаг.

Мясо в магазин он решил доставить на собственных плечах, а не на совхозной лошади, как это обычно делается в деревне. «Для конспирации»,— решил он и, быстро разделив тушу на четыре куска, перевязал каждый мешковиной.

На этот раз в магазине было полно народу. Продавщица, увидев Ивана еще через окно, сама вышла навстречу.

— Ну что, Ванька?! Народ масло требует! Деньги принес?

— Вот они... Поросюха пудов на десять будет...

— А разрешение на сдачу мяса?

— Будет, Глаша, потом будет... А теперь, сама понимаешь...

— Ну ладно, хватай ношу скорей да за витрину тащи... Люди смотрят... Слушай, Ванька, если ты в течение часа не перетаскаешь в сельмаг всю поросюху и не выкупишь масло — придет заведующая, голову с меня снимет.

— Хорошо, хорошо,— закивал Иван.— Потерпи, Глафирушка, только смотри, масла никому... ни грамма.

Во второй заход Частоколов взвалил на себя сразу два куска. Ноша оказалась намного тяжелей, и нести ее было неудобно. Прогибались от груза сосновые мостки, путались собаки под ногами, но Иван не давал себе роздыху. «Только не позор! Только не тюрьма!»

Третий, завершающий заход для Ивана Частоколова стал почти праздником. Прежде чем отправиться в магазин, он до блеска начистил кирзовые сапоги, тщательно причесал светлую шевелюру, и оставшаяся часть груза показалась ему легче ватной подушки. Но когда он приблизился к сельмагу, сердце сжалось. Он вдруг увидел, что все три куска тщательно завернутого мяса кто-то уже вынес обратно из магазина, а около них, зеленая от злости, кружилась заведующая. Он даже не стал уговаривать ее принять мясо без ветеринарной справки, тяжело вздохнул и вошел в магазин.

Обстановка там была понятной: во-первых, только что началась торговля свежим маслом, во-вторых, через несколько минут должны были выбросить индийский чай. Глафира, как ни в чем не бывало, расфасовывала порченный продукт. Иван остолбенел, он словно не верил своим глазам. Под ложечкой неприятно засосало, стало даже муторней, чем с утра. Постояв несколько секунд у порога, он весь напрягся и вдруг выкрикнул:

— Ну что, Глашка, деньги дороже совести?! Так получается? А?

Продащица засуетилась, хотела улыбнуться или подмигнуть, мол, что ты орешь, мол, масло и без твоей порсюхи продам, но подмигивания не получилось, и вместо улыбки на лице появилась одна злость.

Иван хотел выпалить еще что-то грубое, резкое, но в этот момент в магазине появился участковый.

«Донесли уже», — с тоской подумал Частоколов.

— Товарищ в рыжем картузе! — строго обратился к нему участковый. — В чем дело? Что вы тут насчет совести говорили?

— Да нет ее, совести!

— У кого нет?

— У крали этой, — Иван кивнул на Глафиру.

И закричал надрывно, чуть не плача:

— Граждане! Кто купил масло — верните обратно в магазин... Передайте всем, что деньги будут возвращены. А теперь послушайте меня, товарищ участковый. Это я во всем виноват... И в том, что оно бензином пропиталось. И в том, что допустил продажу его. Но ведь я не скрываюсь от наказания, только об одном прошу — дайте выкупить порченный продукт.

— Вы, если я не ошибаюсь, молоковозчик? — спокойно спросил участковый.

— Да... — угрюмо ответил Иван.

— Тогда с этим понятно. Но есть и другие вопросы. Во-первых, как такое масло могло попасть из маслобойки в магазин? Во-вторых, почему его оприходовали словно kota в мешке? А вам, товарищ, придется выкупить из магазина все масло. Иначе, сами понимаете, дело дойдет до суда. — Участковый неожиданно улыбнулся Ивану, будто давнему приятелю. — Мой вам совет: действуйте быстрее.

Теперь у Ивана осталась единственная надежда — корова. Мысль о том, что придется продавать Энтузиастку, угнетала его, а по отношению к матери, которая и дня не могла прожить без своей коровушки, казалась особенно жестокой. Но делать было нечего. Частоколов угрюмо дошел до выгона, а оттуда, забрав корову, — прямо к Матвею Демьяновичу Чижикову, в Большую Калину. У того деньги водились — это Иван знал точно.

— А ну-ка, черт болотный, открывай ворота! Я к тебе с товаром! — закричал он, подойдя к знакомой двухэтажной рубленке. А у самого сердце щемило от боли да ноги подкашивались, словно после угарной бани.

Хозяин дома хотел было спрятаться от незваного гостя, но, увидев, что тот пожаловал не один, а со своей дородной коровой, вышел на крыльцо.

— Ты что надумал, Ванька?! Зачем с Энтузиасткой ко мне?

Иван не торопился с ответом. Молча подогнал корову к крыльцу и, сняв картуз, в упор посмотрел на Чижикова.

— Вот что, Матвей Демьянович, хватит нам в жмурки играть! Потому сразу скажу: меня посадят — и тебе решетка!



— Об чем речь, Иван Петрович?

— Сам знаешь.

— погоди, не кипятись... Что стряслось с тобой?

— Со мной ничего не стряслось. Я еще будь-будь! А ты вот... Короче, не ругаться пришел... Насчет масла. Ты, кажись, тоже его сегодня в магазине покупал. Понял теперь?

— Ничего не понял...

— Тогда прокурор тебе растолкует! — Иван тяжело вздохнул. — Так вот, Матвей Демьянович, масло это есть невозможно. И кто в этом виноват?

— А мне откуда знать?

— Ах ты, крот пакостливый! — Лицо Ивана побагровело. — А я точно скажу, что виноваты мы с тобой, оба! Ты открутил молоковозный шланг, подумал, я без него не справлюсь. А я, дурак, по оплошности прикрутил бензиновый... Вот масло-то и пропиталось гадостью. А раз так, то и отвечать нам вместе!

Такого поворота Матвей Демьянович не ожидал. Глаза его округлились, руки нервно задрожали.

— А, струсил! — выкрикнул Иван. — Да я тебя, если бы захотел... — Он схватил кусок красной глины прямо со своих сапог и сжал ее в кулак с такой силой, что глина брызнула в лицо оторопевшего Чижикова. — Мокрого бы места не оставил. Но я не затем к тебе пришел...

Хозяин стоял на крыльце своего двухэтажного дома словно оплеванный. Редко кому позволял он обращаться с собой так грубо, но Ванька-молоковозчик в этом смысле был исключением. Он знал про Матвея Демьяновича Чижикова почти всю его подноготную. Старик кичился своим участием в Великой Отечественной войне и ранениями, якобы полученными на фронте. На самом же деле «заработал» их в ночных браконьерских стычках с районной охотинспекцией. А всю войну он провел в похоронной команде, так и не сделав ни одного выстрела.

Матвей Демьянович страсть как не любил, когда ему в чем-либо отказывали. Потому что за услугу или добытый дефицит платил щедро — перво-наперво наливал полную кружку браги, а потом вознаграждал нужного человека лисьими, а чаще ку-

ничьими шкурками, угощал красной рыбой или дородным куском сохатинного мяса. Но попробуй отказать старику в какой-нибудь пусть даже малости — неприятностей не оберешься. Потому Иван и был уверен в том, что шланг от молоковоза открутил именно он, Матвей Демьянович Чижиков. И сам старик понимал, что пакость его с молочным шлангом и дураку понятна, но натуру он имел потаенную и пакости свои всегда тщательно маскировал.

— Ты знаешь, Ванька! — опомнившись после несусветной дерзости молоковозчика, заговорил Чижиков. — Ведь я хоть и при деньгах живу, но за так ничего не делаю! И шлангом ты меня не стращай, не я молоко возил, не мне и отвечать! Сказывай лучше, зачем пожаловал? Ежели пожировать решил, в избу заходи, ежели пугать тюрьмой надумал, от ворот поворот! Мне теперь все одно, что воля, что неволя, что семга, что хек... потому как мне восьмой десяток уже! Ну, открутил я шланг? Ну, насолил тебе... Только докажи, что я это сделал!

Иван ласково похлопал Энтузиастку по упругой шее, подвел к хозяину.

— Пришел я к тебе, сыч болотный, потому что жить на воле хочу, — выдавил он. — Вот корова моя... Вот я перед тобой, Ванька Частоколов, словно распятие Иисусово. Я знаю, что ты подлец! Помрешь — никто тебя не вспомнит... А если вспомнят, то только как жука энцефалитного. А меня вот, Матвей Демьянович, может, еще и вспомнят, и не просто так, а добрым словом мужицким. Короче, вся надежда на тебя... Покупай корову, иначе, сам понимаешь, — тюрьма... Участковый сказал: масло порченное не выкупишь — крышка.

— Вот оно что... — Чижиков перевел дыхание, вытер со лба капли пота. — Значит, деньги на масло нужны...

Старик суетливо открыл дверь в горницу, предложил войти.

— Сколько за корову просишь? — лукаво спросил он, усадив Ивана на лавку.

— Сколько дашь...

— Что так дешево? А ежели больше дам, чем думаешь?

— Больше не надо...

— Так уж и не надо?

— Говорю, не надо! Мне токо бы масло выкупить...

— Ну, ну, ты не злись... я щас...— Хозяин дома достал из глубины берестяного туеса кожаную полевую сумку и, вытащив из нее несколько коричневых сторублевок, протянул Ивану.— На, держи... и не серчай на старика. Я хоть и болотный сыч, но в трудную минуту выручу.

Иван взял деньги, и в душе его стало светлей. «Теперь я выкуплю масло,— думал он,— совесть будет чиста, и жить будет радостней... Выкуплю и, если все обойдется, завтра же сделаю предложение Клавке».

Слух о порченом масле, хотя Частоколов и выкупил его, быстро прокатился за пределы деревни. И многие люди, в особенности старушки, тут же нарекли его «Ваниным маслом».

После этой истории Иван сильно захворал и три дня провалялся на печке. И странное дело — все три дня к нему даже почтальонша не заходила. А он ждал: и повестки из милиции, и Клаву Рогожину, и директора совхоза, и бригадира, а на четвертый день — просто кого-нибудь, лишь бы в избу зашли, словом обмолвились. Но никто не появлялся.

Только на пятый день к дому подкатила скрипучая подвода, а на подводе — Клава.

— Ну, ну... Давно жду,— повеселел Иван.— А то ведь меня словно похоронили...— Он сполз с печки на широкую деревянную лавку.— Раньше бригадир каждый день навещался, а тут как в воду канул... Рассказывай, что стряслось?

Клава не ответила, только закрыла глаза и опустила на лавку, словно подкошенная.

— Ты прости, Ваня, что не появлялась.— Лицо ее сморщилось, и она начала всхлипывать.— Тятка как узнал о твоих делах,— сквозь слезы причитала она,— так и запер меня... На всю неделю запер... Забудь, говорит, про Ваньку, ведь он преступник злостный.

— Ты о чем, Клава? До конца договаривай!

— Весь мир против тебя поднялся! Чижиков какие-то подпи-

си собирает... В совхозное управление жалобу послал. И бригадир тоже так настроен, и директор...

— Да что же такое стряслось?! Ведь я масло выкупил...

— Выкупил, Ванюша... Все знают, что выкупил... А оно опять порченное пошло...

— Что?!

Клава вновь залилась слезами.

— Что же ты, Ваня, с молоковозом натворил? Молоко вроде бы хорошее откачивают, а как всбойку сделают, опять бензином пахнет. Чижиков моему тятке все уши прожужжал...

— А при чем здесь Чижиков? Ведь он в совхозе не работает...

Иван торопливо натянул стеганую фуфайку.

— Куда, Ваня?

— К Чижикову.

— Ты что, с ума сошел! Глянь в зеркало... У тебя жар, лицо, как брусника, красное! Да и на что тебе Чижиков?

— Так это же он, сыч болотный, шланг от молоковоза открутил.

— Не может быть!

— Больше некому,— угрюмо ответил Иван, только сейчас сообразив, что об этом он еще никому не говорил.

— Значит, он открутил шланг, а ты прикрутил неизвестно что?

— Ну да... А что ж делать оставалось?!

— Почему же ты сразу не сказал? Вот что, Ваня, ты на телеге поезжай, а я — на маслобойку. Надо про шланг сказать... У меня на сердце прямо полегчало.— Клава подошла к Ивану и обняла его.— Друг ты мой сердешный... Уже шестой год свадьбу откладываем. То с браконьерами воюешь, то с несунами, а теперь вот с Чижиковым оказия...

Но Частоколов уже не слышал Клаву. Одним разом поднял бруски порченного масла и понес к телеге. Клава что-то еще говорила, но он не слушал. Сейчас перед его глазами стоял хитрый старик из Большой Калины, в зеленом жилете, как у американ-

ского фермера, и в трофейной пилотке немецкого образца, привезенной еще с войны.

«Ну, держись, калиновский оборотень!»

Смеркалось, когда Иван подъезжал к Большой Калине. Из-за густого белого тумана деревни долго не было видно. Но когда совсем приблизился к избам, туман рассеялся. И будто бы вместе с ним рассеялась, ушла из ущемленного сердца Ивана злоба.

«И что это каждый раз со мною случается, когда подъезжаю к Большой Калине? — не без удивления подумал он. — Как дважды два ясно, что старик насолил мне, а к сердцу словно какая-то блажь подступает... Неужто и вправду калина красная дурманит? Хотел по-хитрому дело сделать, но слабо видно, сердце надвое раскалывается! А ну-ка, Матвей Демьянович, калиновский сын, выходи во двор, разговаривать будем!» И он с грохотом остановил подводу у колодца Чижиковых.

Из дому никто не появлялся.

— Ты что, оглох, дедка? А ну-ка, открывай затворы! Поди сюда! — закричал Иван.

Кованые двери парадного входа сначала скрипнули, потом завизжали всеми петлями и, медленно растворившись, выпустили Матвея Демьяновича из просторных сеней, словно потревоженного барсука.

— С чем, Ванька, нынче пожаловал? — позевывая, спросил Чижиков. — Мне ведь ничего не требуется, у меня все есть...

— Конечно, все! — неожиданно поддержал его Частоколов, и в груди его опять защемило. — Только одного у тебя нет, Матвей Демьянович Чижиков... И наверное, никогда не будет...

— Чего же это? — лениво спросил старик.

— Совести у тебя нет! — как-то глухо, негромко выкрикнул Иван. — Совести!

— А на что она? — возразил Чижиков. — Ты что, Ванька, и в самом деле глупый?

— Но ведь так нельзя, Матвей Демьянович... Нельзя!..

— Чего нельзя?

— Да шланги-то откручивать...

— А я твой шланг и не откручивал. Вон он на дороге валяется. Принести?

— Эх, Матвей Демьянович, и не стыдно тебе всю жизнь людей обманывать?! Ох, надо бы тебя наказать... И не судом совести — этим тебя, видать, не проймешь... Видишь, три куска масла на телеге лежат. Щас возьму и выброшу в твой колодец! Пусть потом прокуфюр разбирается, почему Ванька именно масло туда бросил, а не что-то другое...

Старик засуетился, с надеждой посмотрел в оконце второго этажа рубленки, из которого уже настороженно выглядывала его супруга Агриппина Васильевна, подошел к колодцу, закрыл его.

— Да ты не трусь, дед,— спокойно и грустно сказал Иван.— Не сделаю я этого, потому что я — человек! Человек я, Матвей Демьянович! И ты будь человеком...

Иван хотел еще что-то сказать, но в этот момент отдаленный рев вездехода довольно ощутимо оглушил тишину Большой Калины. Вездеход, по-видимому, вынырнул из густой, еще не вырубленной сосновой рощи, потому что гул его сначала был довольно слабым, а потом вдруг стал быстро расти. Вынырнув из леса, машина круто свернула к колодцу Чижиковых и остановилась у самой телеги. Из вездехода с шумом вылезло четверо бородатых геологов, одного из которых Иван узнал.

— Здорово, Иван,— пробасил знакомый Частокотову парень в зеленом комбинезоне и с черной как смола бородой.— Прости нас. Ведь мы тоже без выходных пашем... Перепутали мы шланг-то. Помочь хотели, а оно... видишь как...

— Это я во всем виноват,— опять с какой-то болезненной грустью процедил Иван.— Точнее, мы с Матвеем Демьяновичем,— еле слышно добавил он, не глядя на растерянного старика.

— По-видимому, вы и есть Матвей Демьянович Чижиков? — обратился бородач к жителю деревни.

— Да, я! — вздрогнул дед.

— Сносить будем ваше хозяйство,— вдруг тоном большого начальника сказал старший геолог и, с издевкой глянув на ста-

рика, озорно подмигнул Частоколову.— Конец Большой Калине! И баням черным, и амбарам рубленным пора пришла!

— Чего? — не поняв, переспросил старик.

— Уже решение облисполкома есть... бумаги подписаны...

— Чего? Чего? — никак не верил своим ушам Чижииков.

— Под этой деревней нефть нашли,— строго пояснил старший геолог.— Скважину бурить будем, нефтепровод протягивать... Хватит, старик, чавокать.

Геолог достал выписку из приказа насчет ликвидации всех построек в Большой Калине, протянул деду.

Геологи уехали, Матвей Демьянович почти до самой ночи просидел у колодца, никак не веря случившемуся.

Никак не мог он поверить, может, всю жизнь не верил бы, но через две недели из райцентра приехали первые командировочные и для начала снесли все изгороди Большой Калины.

После этих событий Иван Частоколов несколько раз навещал старика, но это был уже совсем другой человек. Матвей Демьянович продал скот, перестал собирать грибы, ягоды, забросил охоту, распустил уловистые мережи, наконец утопил лодку и сделался совсем бесхозяйственным старцем. Он ждал переселения в районный центр.

— Это я открутил шланг,— однажды признался он Частоколову и, стряхнув слезу со щеки, долго молчал пристально вглядываясь в светлые и какие-то до боли простодушные глаза молоковозчика.— Может, геологи узнали про это и вдвойне осерчали...

— Откуда им знать,— успокаивал его Иван.

— Но ведь они видели, как я шланг-то на дорогу бросил. Прости меня, дурака старого...— Старик неожиданно упал на колени перед табуретом, на котором сидел Иван, и вдруг громко завсхлипывал.— Прости, Ваня... за шланг прости. Мы ведь теперь все одним узлом повязаны... Нельзя нам ссориться... никак нельзя... И то, что масло бензином пропахло, в этом не только мы с тобой виноваты... все люди...

— Как так?! — удивился Иван.

— Очень просто.— Старик медленно поднялся на ноги и, подойдя к вековой изгороди, опять завсхлипывал.— Ягоды и грибы, Ванюша, нынче бензином пропитались... Даже пчелиный мед нефтью горчит. Беда с нашей землей случилась, неслыханная беда! Конец Калине... ночами не сплю... Начальство уже догадывается об этом, но пока молчит. Ведь месяц-то назад геологи все луга нефтью залили. Нефть-то в землю постепенно ушла, а беда осталась. А ну-ка, пойдем в дом, я тебе кое-что покажу.

Старик взял Ивана за локоть и, смахивая на ходу слезы, растерянно потянул молоковозчика на чердак двухэтажного дома.

— Вот, Ванюша, голубятня моя... спасти почтарей я так и не успел,— со вздохом выдавил он, поднявшись по крутой лестнице. Лицо его вдруг сделалось строгим, сосредоточенным, глаза вспыхнули, округлились.— На этой неделе все померли. Теперь у нас ни одного голубя не осталось, а ведь я надеялся, Ваня, особенно после случая с маслом... на мудрость начальства надеялся. А оно, видишь, что получилось... Выходит нефть-то масла дороже, и деревни нашей дороже, и пастбищ, и луговин... Неужели и в самом деле так?! Что ж это делается, Ваня? Что ж дальше будет? Скажи, скажи мне...

## ПОКА СТУЧИТ СЕРДЦЕ

Старик свесился с печки, глянул в оконце.

— Вьюга хлыстом бьет, а я гасну.

— Че? — откликнулась старуха.

— Че? Че! — незлобно передразнил старик.— Квасу дай...

Старуха слезла с полатей, налила кружку, ласково протянула:

— Пей, бог с тобой.

Старик взял кружку, задумался:

— Огурчика бы...



Жена юркнула в подвал, быстро отыскала огурец.

— Еще че? — переспросила она.

— Эх... На печь лезь,— тихо, почти шепотом ответил супруг.

— Зачем?

— Лезь, кому говорят! Да ближе, ближе...

— Куда ближе-то? — тихо проговорила жена.— Вся твоя, Степанушка.

— Будет тебе кривляться. Ты лоб пощупай: холодный али нет?

Жена потрогала лоб.

— Холодный, а че?

— Холодный! Все, конец, значит. Одна жить будешь... На тот свет ужожу... Николая Угодника неси.

— Ну тебя... Аль не помнишь? Пронька вчера был... Я ему, охламону, башку отверну! Пришел шалопутный, три огурца съел да Николая Угодника у тебя и выпросил.

— Ему-то он зачем? — Старик посмотрел на пустую божницу.— Ну что, молчишь?

— Да ну тя... Проньке денег девать некуда, вот и бесится. А вчера...

— Что вчера?

— Степан, говорит, где? Я ему — спит, а он буди говорит. Зачем, спрашиваю, черт полуношный? А он уперся как бык, буди, и все. Ветеранам, говорит, нынче награды раздают, и Степке твоему положено...

Старик слез с печи, прихрамывая, дошел до стула, стиснул кулак.

— Скажи, как думаешь? Мне награду дадут али как?

— То за Отечественную дают, а ты — гражданский...

— Я свое отмолотил,— твердо сказал Степан.— Вот ты ворчишь все, подковыриваешь, а я дело до конца довел... Ни одного ентервента здесь не оставил. Да меня на всем земном шаре помнят... И в Англии, и в Америке, и в Германии...

— В Германии тя помнят. Через них и хромой...

— Да если бы не нога, я бы до Тихого океана дошел. И Кол-

чаку бы досталось... Я и теперь по ночам лежу и думаю, что бы такое сотворить.— Дед задумался.— Вот что, мать, ты щас до сельсовета сходи!

— Ступанушко, ты что, спятил?..— заволновалась старуха.— Поздно уж! Ночь за окном, вьюга, волки!

— Ступай, ступай, Лукьяновна. Больно перед смертью узнать хотца, дадут орден али нет...

Лукьяновна набросила тулуп, нырнула в катанки выше колен, толкнула дверь. Дверь не поддавалась.

— Ух ты! Заперты!

Степан сердито проковылял за дверь и стукнул ее, словно шашкой рубанул.

— Заперта! Снаружи заперта, как тюрьма! Неужто Пронька запер?! Сдурел, что ли!

Он подошел к окну, и глаза его вспыхнули блеском, который смолоду не могла забыть Лукьяновна. Точно такие глаза Степана снились ей в военные годы — дерзкие, воспаленные.

— В окна стучать придется. Чай, добрые люди откоют.

Старик устало опустил на лавку, обхватил голову обеими руками. Лукьяновна подседа, обняла его.

— Но почто же нас заперли, бабушка, за что?

Степан поднялся с лавки и, подойдя к низкому избяному оконцу, застыл в недоумении.

— Понял я, за что нас заперли... Я хоть и не умер пока што, но уже мертвец... мертвец я!

— Как так?! — Лукьяновна перекрестилась.

— Очень просто. Телом жив, а в остальном меня нет, нет, нет...

Старик подошел к окну, одним рывком выдавил ветхие рамы во двор. Затем высунулся из проема и, жадно глотая морозный воздух, закричал:

— Люди! Вы думаете, я умер? Многие так думали! И в первую мировую, и в гражданскую, и в Отечественную, а я вот живой и все чую! — Ветер обжигал лицо, слезил глаза, но Степан не замечал этого.— А раз живой, то обязан сказать всю правду! Подлецы-то у нас не переводятся! Втерлись, гады, в доверие

и живут, как на курорте... Прошлой ночью самолично видал, как бригадир совхоза пилил государственный лес, чокеровав да в свой двор затаранил, безо всякого на то разрешения. А завселямагом каков! Как начал в продовольственном отделе робить, тучный, как боров, стал. Многие так рассуждают: войны нет, и слава богу! Но ведь есть такие, что поедом друг дружку едят: соседей, односельчан! Когда же это кончится? Ведь мы же вокруг луны наострились летать! В окояны до самого дна ныряем, а ради места тепленького или наживы смерти ближнего рады... и такое не только у нас, повсюду... А ведь мы молчим!

Поначалу Лукьяновна боялась подойти к разгоряченному деду, но, когда голос его ослаб, осторожно взяла старика за руку и кое-как оттащила от окна.

— Степа! Степушка! Видно, ради правды ты и в окно можешь вылезть. И откуда у ты такая ненависть к подлецам? Всю жизнь на них ухлопал.

— Да, баушка...— Старик снова подошел к проему в стене, замер, прислушался.— Вот и щас, ты ничего не слышишь? — спросил он.

Лукьяновна притихла.

— Нет, Степан, а че?

— А я вот все слышу: и как вьюга на земле бродит, и как начальство не спит... Тихо! Ветер-то в нашу сторону дует... Никак бригадир опять лес воровать поехал...

— Тебе-то че? Он хоть маленький, да начальничек. Не вмешивайся, Степа!

— Как это не вмешивайся?!

Степан торопливо надел полушубок, нахлобучил на затылок фронтową шапку-ушанку, достал из сундука одноствольный дробовик и перелез во двор. Лукьяновна не успела его окликнуть из-за нахлынувших слез.

Дело шло к весне. Ночи были уже и теплыми!

Степан был уверен, что трактор, шум которого он услышал из избы, прошел не по зимней дороге, а напрямик, по снежному насту, через редкий ельник.

— Нет, я не умер ешо,— твердил старик сам себе.— Хотя и в рудной избе родился, а расхитителей добра народного за версту чую... Я еще — будь-буди!

Ему казалось, что трактор тарыхтит где-то рядом, но он прошел больше двух километров, а шум не приближался.

Тогда Степан круто свернул к зимней дороге. «Так будет надежнее,— решил он.— Потому как в темноте идти по ельнику трудно». Он прошел еще километра два, но шум трактора оставался по-прежнему далеко. Степан даже и не заметил, как рокот его сначала ослаб, а потом и совсем прекратился. С этой минуты в лесу наступила такая тишина, что старик вдруг услышал, как бьется его сердце. Четко стучало оно, ровно, хотя во всем теле чувствовалось напряжение.

«Пока сердце стучит, мимо подлости не пройду...— сказал самому себе Степан и стал прислушиваться, только теперь не к стуку своего сердца, а к еле доносимым откуда-то голосам людей.— Может, они уже лес чокеруют,— решил он,— потому и притихли. Но зачем в такую лютую стужу глушить мотор?»

Уже на рассвете он увидел Тимофея — совхозного бригадира. Он был не один, у трактора крутился парень лет двадцати, в коротком дубленом полушубке, по которому Степан сразу узнал сына директора совхоза. Старик хотел спрятаться и понаблюдать за ними, но, подумав, снял ружье с предохранителя, уверенно подошел ближе и крикнул:

— Здравствуйте, товарищи начальники!

— Здравствуйте, Степан Иванович,— отозвался бригадир и, помолчав, ехидно добавил: — Никак на охоту собрались?

Такого вопроса старик не ожидал, даже крякнул от бойкой наглости Тимофея.

— Стало быть, на охоту,— мрачно ответил он.— Я ведь птицу по полету вижу...

— И мы вас еще у деревни заметили,— протянул парень, поймав на себе пристальный взгляд старика.— Хотели подвезти вас, да трактор сломался. Нам ведь по пути?

— Нет, не по пути.— Степан мрачно посмотрел на бригадира и строго спросил: — Куда трактор гоните?

— Далеко, дедушка, отсюда не видно,— усмехнулся Тимофей.

— Ух, как научились разговаривать! Потому и далеко, что государственный он, а был бы свой — так не скакали бы по лесу.— Старик помрачнел, откашлялся и без важности сказал:

— Ну ладно, хватит, наговорились... В сельсовет пошли!

Бригадир насторожился, искоса глянул на массивную берданку деда, по всей видимости, нулевого калибра.

— Зачем? — растерянно спросил он.

— Там разберемся, Тимоха... Что-то часто я тебя на государственных делянках стал видеть. Понял?

— Понять-то понял...— Бригадир умолк, нахмурился и заговорил задушевно и деликатно: — Только я ведь теперь, Степан Иванович, не Тимоха уже, а как-никак руководитель, бригадир. И зовут меня нынче Тимофей Гаврилович Наумов. Я уже два раза на повышение в центр ездил, жалованье мне начислили три сотни с половиной, путевку за границу обещают... Догадываетесь, почему фунт лиха?

— Вот так нынче и получается.— Степан тяжело вздохнул, насупилсь, глаза его вспыхнули.— Тебе бы, Тимоха, в пастуха походить годков пять, с племенными бычками попястаться в ко-саражнике, а ты уже в руководители ползешь. Да с такой воровской натурой, как у тебя, нельзя руководителем быть. Иначе опять, как при царе, заживем.

— Об этом, Степан Иванович, не тебе судить! — оборвал его бригадир.

Лицо старика сильно помрачнело, глаза округлились, голос стал отрывистым, резким:

— Ты постой, Тимоха! Ведь я в рассудке еще! Хотя и старик. Видно, не знаешь, как я дрался за власть нашу Советскую, потому и дерзишь!

Степан по-молодецки крикнул и, сдернув с ослепительно-седой головы ушанку, бросил ее в снег. Лицо его зарделось от мороза, губы покраснели. Поежившись от холода, он поднял шапку, стряхнул с нее снег и нахлобучил на голову.

— Довольно комедь разыгрывать. Заводи трактор,— обратился Тимофей к напарнику.— В сельсовет едем! Там разберемся.

— То-то и оно. Трактор, видите ли, у них сломался.— Старик повесил одностволку на плечо, ухмыльнулся.— Ох и человек ты, Тимоха! Нет бы сразу сказать: «Извини, деда, хлеба в доме сгнили, а леса строевого нема. Вот и приходится втихаря пилить...» А у тебя, чуешь, что получается? И трактор сломался, и жалованье неизвестно отчего повысилось. И путевка на носу... Ну, поехали, поехали!

В окнах сельсовета уже горел свет. Степан издали разглядел на высоком крыльце первого заместителя, взволнованно поглядывающего по сторонам. Он узнал своего вчерашнего гостя Прона Кожемякина.

— Вы Степана Большакова не видели? — с тревогой кричал Прон.

Трактор остановился.

— Здесь я, Проня,— радостно отозвался Большаков.

Кожемякин подбежал к волушке.

— Бог ты мой, а я с ног сбился! Ты прости меня, дурака старого, за то, что твою избу запер! Ведь это Тимофей науськал меня.— Он брезгливо кивнул на бригадира.— Запирай, говорит, своего дружка снаружи. Нынче, говорит, время лютое, как бы смерть к нему в дом не прокралась, ему ведь девятый десяток уж... Вот я тебя и стал запирать.

Степан покосился на бригадира, повесил ружье на плечо.

— Как домой возвращаюсь, так и запираю,— никак не мог успокоиться Прон.— А утром иду дежурить в кочегарку и опять отпираю. А вот нынче...— Прон тяжело перевел дыхание.— Подхожу к твоему дому, а вместо крайнего окна в передней — дырка в стене и рама в снегу лежит. Я кликнул тебя — молчание, кликнул Лукьяновну — тоже никто не отзывается. Я в избу... В ней темно, как в колодце... Зажег спичку, прошел в переднюю, а там в углу на лавке Анфиса Лукьяновна лежит...

Степан сошел с трактора, мрачно посмотрел на растерянные глаза Прона, насторожился.

— Ну и что? — глухо спросил он с какой-то слабой тревогой в голосе.— Холодно в избе?

— Если бы только холод! Лежит, на ногах у нее катанцы,— взволнованно продолжал Прон,— в руках лампадка разбитая, а глаза... Слышь, Степан Иванович... Прости меня, дурака старого... не уберег я твою бабушку. Видно, смерть окаянная в окно влезла, а может, Лукьяновна к фельдшеру хотела идти, а дом снаружи заперт...

— Ты что это говоришь, Проня?!

— Нет ее больше... Умерла она, Степан.

Старик больше ничего не спрашивал, только сразу весь осунулся, покачнулся назад, словно его кто-то толкнул, и тяжело опустился на волокушу, стоявшую неподалеко от сельсовета.

— Умерла, значит, моя баушка,— тихо сказал он и, сняв шапку, вдруг громко завсхлипывал.— Опередила меня, старая...— проговорил сквозь слезы.— Придется одному теперь воевать...— Он поднялся с волокуши, оправил на себе одежду и вытер носовым платком заплаканные глаза.

## ЧОКЕРА \*

— Ну, Калинин, крепко ты наш совхоз выручил! Эх, да что рассусоливать! Садись к столу, на самое почетное место... Я тебя не только медвежатиной угощу, но и сметаной неразбавленной, прямо с маслобойки. Добрый ты человек. Руки-то с мылом помыл?

Слесарь из Залукского совхоза Яков Арефьевич Калинин, по прозвищу Тюря, зарделся, как ошпаренный рак. Руки его отмывались только при помощи бензина, и это обстоятельство сильно смущало Якова. Сняв теплые рукавицы, он сунул руки под стол.

— Вижу, что на износ работаешь,— с улыбкой подметил директор совхоза, тучный мужчина — косая сажень в плечах.— Но ты не робей. И я на износ, а что поделаешь?

Директор присел на просторный деревянный стул рядом

---

\* Чокер — стальной трос.

с упитанным пушистым котом и, достав из широких брюк большие белые таблетки, положил под язык.

— Пятый год на валидоле сижу. А нынче сам бог заставляет таблетки глотать... С ремонтом замучились. То прокладки выйдут из строя, то шестеренки, то подшипники, а тут еще чокера кончились. Спасибо за чокера, дружок, с такими людьми, как ты, нам любая акула не страшна...

В горницу вошла жена директора, неся за плечами огромный деревянный пестерь с онежскими щуками.

— Ну и холод в избе. Я думала, ты печку натопишь, а ты опять сахар аптечный грызешь. Хоть бы чаю согрел! Не совестно перед гостем-то?

— Теперь нам с Калинкиным некуда торопиться,— ответил супруг.— У нас сегодня праздник. Нам бы только поесть да на боковую. Ты не представляешь, Лиза, сколько он чокеров раздобыл!

— Яков всегда молодец,— подхватила жена,— и валидол не сосет. Эх, Просекин, Просекин, по ночам спать надо, а ты к телефону, будто калека к телевизору, прирос. Взгляни в зеркало... Ведь ты не старик еще, а седой весь.

Как нарочно, в горнице зазвонил телефон. Гудки были пронзительными, долгими.

— Я слушаю,— сняв трубку, устало ответил директор,— ну, да, да... Отпустить, говоришь? Так мы за него, Антонина, тысячу рублей ухлопали! Холмогорский он. Ежели так безответственно работать будем, с одной мякиной останемся. Поймать быка надо, кровь из носу, поймать. Волки и без него сыты, а ежели, стервец, в суземье драпанет, из ружей палите. Мясо, говоришь, кому? Мясо только передовикам. А лучше живым его достаньте, слышь, Антонина, живым! Он ведь племенной...

Директор положил трубку, но телефон, как ужаленный, загудел опять.

— Я слушаю... А, Григорий Петрович. Ну-ну... Да. Да. Зачем, говоришь, дом продали писателю? Так ведь он наш, онежский. И потом, Григорий Петрович, обидно нам, мы ведь школу каменную отгрохали, скотник с экспериментальной ямой сдаем,



пилораму, дорогу! Ведь это легко сказать, а на деле каждый день, как у Шекспира в «Гамлете» — «быть или не быть». А кто напишет про это, Григорий Петрович, мы с вами? Или Ванька с барки? Мне лично писать некогда, да и непривычно, а вы далеко от нас, не осилите. Короче, я считаю, что нашему совхозу просто необходим свой писатель. Ежели возражения есть, обсудим на исполкоме...

Директор подсел к Якову.

— Ну, спасибо тебе... Давай ради такого праздника стол организуем.— И, ловко распластав щуку, нарезаю ее на крупные звенья, принялся за грузди.

— Морошку моченую будешь?

Калинкин молчал. Голова кружилась от усталости, хотелось спать. Но так вот запросто очутиться с директором совхоза за одним столом было для него немалой радостью. Он терпеливо дожидался праздничной трапезы.

Наконец стол был накрыт, и в центре его хозяйка поместила большую эмалированную сковородку с жареной медвежатиной.

— Ну что ж, добросовестный человек,— произнес директор,— еще раз спасибо тебе за чокера! Ради такого случая можно и брусничного морса выпить. Нынче брусника не уродилась, но мы с Лизой набрали.

— Медвежатиной угощайтесь,— настойчиво предлагала Лиза,— наша, онежская. Муж-то опять шатуна выследил.

Но Калинкин продолжал стесняться закопченных рук и все время прятал их под стол.

— У меня, паря, от Карел до Печоры, по всему европейскому Северу кореша есть,— гостеприимно улыбался директор, чувствуя стеснение гостя.— Иначе нельзя... Ты руки-то не прячь под стол... С таким сердцем, как у тебя, и с грязными руками любо...

В горнице опять загудел телефон.

— На-ко, леший,— возмутилась Лиза,— поужинать не дадут.

Просекин поднял трубку.

— Я слушаю. А, Петровна. Что случилось? Прокурор и сле-

дователь? В совхоз, говоришь? Давно ждем. Надо их в нашу гостиницу устроить. Чего? Простыни кончились? Щас, Петровна, подожди... Лиза, — он устало обратился к супруге, — у нас чистые простыни есть?

— Нет, — сухо ответила жена, — на весь район не настираешься.

— Тогда извини, Калинин. Идти надо... — Просекин грузно поднялся из-за стола. — Не сердчай, братуха, что так случилось. Работа дьявольская... — И ловким движением наполнил стакан Калининка брусничным морсом, плеснул полстакана себе и, хватив глоток напитка, оглушительно крикнул.

— Ты что, совсем омедведился? — со вздохом упрекнула жена. — Что человек подумает?

Директор почему-то нахмурился, исподлобья посмотрел сначала на жену, потом на тракториста и, поспешно проглотив хрустящий груздь, заговорил громко, взволнованно:

— А я считаю, люди дорогие, так. Нынче у нас всяк выпьет, да не всяк крикнет, потому и тихарей много развелось. Тайком, черти, пьют, чтобы никто не видел да никто не слышал. Молвы боятся, а хуже того — друг дружку.

Директор вышел из-за стола, набросил на плечи овчинный полушубок, проверил карманный фонарик и, подойдя к старинному буфету, крикнул еще раз, только более оглушительно.

— Угощайся, Калинин, ешь и пей досыта! — громко сказал он. — А ежели повеселиться надумаешь — сплясать, скажем, или попеть наших народных песен, то шибко-то не стесняйся. Вприсядку хоть до потолка скачи. Мы с Лизой тихарей не любим... А я сейчас... Командировочных надо устроить.

Директор вышел из горницы, а Калининка вдруг так разморила вкусная еда да жар уже затопленной русской печки, что он, сам того не замечая, грузно опустился над столом, закрыл глаза и словно в теплую болотину стал погружаться. Сначала он довольно ясно ощутил и запах, и вкус болотины. На первых порах ему даже нравилось вбирать порывистыми глотками любимые с детства запахи и багульника, и вероники, и брусники, и клюквы, но чем дальше, тем дышать становилось трудней, и через неко-

торое время сознание его словно растворилось в темной жидкой массе. Он чувствовал, даже ясно видел разбухшие корни горьковатых трав, которые мелькали перед его глазами, затягивали, и противостоять их природному дурману был не в силах. Теплая болотина неумолимо заглатывала его.

Проснулся он ночью.. Кругом черная тьма. Сначала ему показалось, что он в душном погребе на прошлогодней гнилой картошке. Он пошарил по сторонам, но картошки рядом не оказалось, а вместо нее перед носом лежала ватная подушка. Изнемогая от духоты и жажды, он отбросил подушку в сторону.

«Какой стыд,— подумал он,— неужели меня так разморило, что я не помню, у кого уснул. Где мои спички?»

Он потянулся к брюкам за коробком, но вдруг почувствовал, что лежит под темным байковым одеялом в одних трусах, в рваной морской тельняшке.

«Вот тебе и праздничек! Хотя бы порты нашлись!»

Он отшатнулся в ту сторону, где было тихо, и сразу же наткнулся на что-то твердое.

«Стена?! Ну да, конечно, стена! Бревенчатая, плотно покрытая бумажными обоями». Калинин начал отыскивать флотские брюки и морской бушлат. Он почему-то был уверен, что стул с верхней одеждой находится между деревянной кроватью и утепленной стенкой горницы, но, как ни пытался, ничего, кроме пустой тумбочки, обнаружить не удалось. Стараясь не шуметь, он стал обшаривать тумбочку, но половица под ним внезапно скрипнула, и где-то в темноте кто-то оглушительно крикнул.

Калинкин в отчаянии опять скользнул на кровать и вдруг увидел, что рядом с ним лежит глазастый кот, тот самый, что сидел с директором на одном стуле. Зрачки у кота были сильно увеличены и ярко горели в темноте.

Калинкин осторожно прошел вдоль стенки, нащупал какую-то дверь. Резко открыл ее и сделал решительный шаг вперед. Он был уверен, что за дверью находится какое-нибудь помещение, немного прохладнее и свежее, чем эта проклятая комната.

Но попал он в еще более удушливое помещение: здесь пахло соляркой, нитроэмалями. Калинин попытался пройти вперед и наткнулся на какие-то скользкие железки. Нагнувшись, он без труда узнал свои чокера.

— Японский городской! — прошептал он с обидой. — За что же меня казнят? Ведь я за всю жизнь ни одной соломинки не украл! Ни одной крошки хлеба не съел задарма! Как так получается... Я им чокера из-под снега больше восьми лет выцарапываю, а они меня в душегубке, как в тюрьме, гноят. Где совесть? Где справедливость?!

Калинин прыгнул куда-то вперед навстречу воображаемой двери и попал босой ногой в теплое ведро с тягучей соляркой.

— Люди!.. У меня каждый чокер собственными руками добыт! Любой слесарь об этом скажет! Любой чокеровщик! Да если хотите знать, у меня их целая коллекция, потому как для любого тракториста исправный чокер превыше всего! Да я его ни на какую золотую цепь не променяю!

Опрокинув невидимое ведро с вязкой соляркой, Калинин сделал два буксующих шага.

Где-то в соседней комнате вспыхнула настольная лампа, и в светлом проеме неторопливо показалось заспанное лицо директора.

— Калинин, ты что раскрякался? Я и так знаю, что ты не вор и делаешь все не тайком, а на людях... Чего же ты кричишь? Может, деньги за чокера нужны? Так я тебе премию выпишу... А вот ежели черти по ночам снятся, домой иди...

Директор исчез, а Калинин долго стоял в дверях как оплеванный. Ни о каких деньгах он и думать не думал. И когда Просекин протянул ему расписку на получение премии, сказав при этом свою коронную фразу: «Долг платежом красен», то Яков Калинин был готов провалиться сквозь землю.

— Денег я не возьму, Матвей Евлампиевич,— еле слышно процедил он, не глядя директору в глаза.

— Почему? — удивился Просекин.— Ведь ты же заслужил... Если мало, еще выпишу. Только скажи мне по-честному, полуношник ты эдакий, откуда у тебя столько чокеров? Любопытство

меня разбирает, и командировочный следователь интересовался.

— Чокера, Матвей Евлампиевич, я достаю у вас.

— Как у меня?

— В совхозе вашем. Многие трактористы из отдаленных участков теряют их, а я эти брошенные чокера, будь они неладны, выцарапываю из грязи, снега, потом ремонтирую и, когда у вас нехватка, вам сдаю.

— Чего?

Калинкину показалось, что Матвей Евлампиевич не расслышал, и он повторил еще раз.

— Да ты знаешь, что ты со мной сделал теперь?! Калинин, душа моя, молодость моя! Калинин! — Лицо Просекина светилось неудержимой радостью. — Дай я тебя обниму, голубчик ты мой! Дай я тебя расцелую, как сына родного! Ведь ты для меня нынче, как спелый колос на заре! Я-то думал, что такие люди повывелись, а ты есть, Калинин, есть! Да еще как есть-то! Я тебе щас новый слесарный станок выпишу, чтобы ты по гроб жизни помнил, какие мы с тобой люди!

Он достал из комода кожаный бумажник и, вытащив оттуда бланки с печатями, положил на стол.

— Вот тебе бумага на получение слесарного станка. — Директор размашистым движением расписался и еще раз с любовью глянул на Калинкина. — А ко мне вчера прокурор со следователем приехали. Почему, говорят, у тебя все трактора на ходу, машины все работают и план ты перевыполняешь на десять процентов? Лес заготавлиешь, трелюешь, строишь много... А вот в соседних совхозах, мол, обратная картина: запчастей не хватает, машины стоят, картофель гниет... Да разве с такими людьми, как ты, Калинин, возможно в хвосте плестись! Или хозяйство совхозное запустить! Держи расписку на получение денег да бумагу на станок.

Калинкин смущенно взял две заверенные бумажки, положив в верхний карман куртки, и лицо его налилось словно брусничным соком.

— А теперь, дорогой ты мой человек, давай-ка тяпнем по чашке крепкого чая. — Просекин неожиданно как-то весь вы-

прямылся, поправил на себе просторный байковый халат и, проворно открыв термос, стоявший на холодильнике, разлил по чашкам.

— Хороший вчера был праздник, а сегодня еще лучше, потому как знаю теперь твердо, что мы с тобой, Яша, честные государственные люди! — Он неожиданно крикнул, поднял над столом чашку, но, помолчав немного, с грустью отставил. — Нет, я, пожалуй, вместо чая валерьяновки или валокордина проглочу.

Директор опустил чашку и, положив одну руку на сердце, налил другой рукой в стакан темной жидкости с валериановыми каплями.

— Ну будь здоров, чертяка...

Поморщившись, он еще раз крикнул и выпил стакан до дна.

— А чокера ты продолжай выцарапывать и других слесарей хозяйственности учи. Мы ведь перед людьми в ответе...

И Калинин тоже неожиданно крикнул, сделав глоток чая. И получилось у него это, как у самого директора совхоза!

— Отлично, Яша! Завтра, если захочешь, поедем со мной в райцентр. Там ведь новый Дом культуры отгрохали, жуть! Я на совещание, а ты культурным отдыхом займешься. Ну?

— А что, поехали...

— Тогда по рукам...

С директором Калинин был готов ехать хоть на край света. Дорожил он Просекиным, как родным отцом дорожил.

Сердечная беседа с почитаемым во всем районе человеком сильно взволновала его. Он понял как-то вдруг, что вести себя можно совсем иначе, да и жить на родной земле не так осторожно, а шире, уверенней. Одним словом, что-то словно раскололось в нем, и дышать стало свободнее.

— Ох и лихо нынче в душе! Ох и празднично! — барабанил он себя в грудь, подъезжая в машине директора к райцентру. — Давно я мечтал вот так... с медвежатиной посреди стола, да с брусничным морсом из вековых четвертей! Вот вы, Матвей Ев-

лампович, человек, и здесь тоже люди живут, но разве они смогли бы на такое решиться...

— На что, Яша? — строго спросил директор.

— Да на то, чтоб душу-то распахнуть!

— А-а... Вы все о душе моей, и ты тоже. А она у меня самая что ни на есть нормальная. Я ведь не писатель какой, не артист.— Директор широко улыбался, хотя и думал совсем о другом, и в первую очередь о том, что предстояло высказать на совещании.— Ты не торопись, Яша, с выводами. У ДК тормознуть или как? Может, у церкви? Там тоже интересно нынче. Преподобные Зосима и Савватий в полный рост... Музей, короче, открыли, только вход теперь по билетам.

— Лучше у ДК.

Директор притормозил у Дома культуры и велел ждать его на обратном пути около шести вечера. Ему хотелось, чтобы Калинин смог сходить куда-нибудь, скажем в городской кинотеатр, а может, и в ресторане пообедать. И он незаметно сунул в куртку тракториста десять рублей.

«Это ему на праздничное настроение,— решил он.— Пусть отдохнет как следует, купит чего-нибудь».

Районный Дом культуры оказался на запоре со всех сторон, и Калинин, обойдя его кругом, свернул в сторону главной улицы.

— Пиво-воды,— прочитал он на углу одноэтажного дома. Войдя внутрь, он быстро окинул помещение острым взглядом и, сняв шапку, направился к мужикам, чем-то похожим на него самого.

— Ку-ку, ребята? — осторожно спросил он.

— Пока ку-ку,— ответил бородатый здоровяк с таким же острым взглядом, как у Калинкина.— Ты что, с вахты сбегал? — поинтересовался он.

— Сбежать-то сбегал, да в кармане дырка,— чистосердечно признался Калинин.

— Не бери в голову...— сурово буркнул бородач.— Кружку неси.

Калинкин взял кружку на соседней стойке, сильно смутился.

— Ты не канючь,— весело подмигнул бородач.— Угощайся. Он лихо плеснул Калинкину районного пива, оглядел тракториста с ног до головы.

— Ну, дырка, поехали!

Они выпили.

Последний раз Яков пил пиво много лет назад. Еще в те времена, когда перед выборами в местные Советы в дальнюю деревню забрасывали не только яблочный сок, но чего-нибудь покрепче. И сейчас это мгновенно сказалось на его настроении.

«Вот город,— одурев от горького напитка, отметил он,— с ходу по мозгам лупит».

Бородач словно угадал его мысли и подтвердил это на факте — вылил Калинкину оставшееся пиво.

— Будь здоров...

— И ты, борода, не болей,— осмелел Яков.

— Ты мореман или деревня?

— Чё, по харе не видно?

— С верховья, что ль?

— Ну да...

— А сюда зачем?

— Да вот, это самое... чокера собираю, ну и...

— Постой, постой!

Глаза бородача вспыхнули, губы задрожали, он как-то сразу весь выпрямился, поправил на себе ватник, заговорил совсем другим голосом:

— У тебя деньги есть?

— Деньги?!

Калинкин машинально полез в карман за распиской на получение премии и наткнулся на десятку.

— Ух ты, да тут червонец,— удивился он, не сразу сообщив, откуда взялись деньги.— Вот тебе и чокера!

— Чего? — не понял бородач.

— Чокера, говорю, дефицит,— весело пояснил Калинкин.— Где бы еще раздобыть?

— Ну да... Конечно, дефицит,— хитровато пробурчал бородач.— И раздобыть их не всегда можно...



Он неожиданно засуетился, ловко обшарил пивную сальными глазками, с жадной гляннул на десятку Калинкина.

— А теперь ты нам ку-ку! Понял? Бери пиво... мы сейчас...

Калинкин встал в очередь за бутылочным пивом, а бородач вместе с приятелями вышел на улицу.

— Вы куда, ребята? — крикнул им вслед Калинкин, но они почему-то не ответили.

Очередь приближалась медленно. Яков взял восемь бутылок пива и, поставив на стол, опять подумал о том, что Просекин отличный человек.

Праздник души в сердце слесаря продолжался.

«Сейчас придут его городские дружки, и он обязательно расскажет им, какой у него директор,— решил он.— И расписку на премию покажет, и распоряжение на получение нового станка...»

Наконец дружки появились.

— Вы что, и в самом деле ку-ку? — спросил Калинкин и оторопел от удивления.

Трое городских приятелей были обвешаны чокерами, словно новогодние елки увесистыми гирляндами.

— Лешаки! — громко закричала буфетчица.— Ларек в гараж превратили! Стойки бензином пропахли, а вы что вытворяете? Вон отсюда!

— Мы чо, выпимши иль к горлу с ножом лезем? Чего кричишь, Роза?

— Я не кричу, а в помещении с частями от трактора не положено.

— Где написано про то?

— На лбу у тебя написано, брондохлыст! В глазах твоих осоловелых,— еще больше повысила голос буфетчица, обращаясь к бородачу.

Она вышла из-за прилавка и подошла к теплой компании.

— Счас пиво отыму и за дверь всех четверых!

— А мы тебе, кхе! Взятку дадим. Верно? — заулыбался Калинкин, сочувственно поглядывая на бородача.

Мужики прыснули от смеха, хорошо зная, что Роза берет взятки не только деньгами.

— Ты ей конец чокера на груди завяжи, а другой к трактору! — выкрикнул один не из робких посетителей ларька.— Так и в ОБХСС дуй!

— Ты у меня живо отгул на пятнадцать суток схватишь,— закричала буфетчица и достала из халата милицейский свисток.

Посетители ларька замерли. Только обвешанные чокерами, словно по команде, переглянулись и положили стальные тросы на пол.

— Слушай, парень,— оживился бородач, обращаясь к Якову.— Пусть эта зараза кричит, а нам ради такого дела шарнуть надо.

— Кого шарнуть?

— Дурачок... выпить, говорю, надо.

— Зачем?

— Как зачем?

— А вот так, зачем? — повторил Калинин.— Я, например, культурно решил отдыхать, хоть и в душе погано.

— Ну давай красным побалуемся,— не успокаивался бородач.— Червонца жаль?

— Червонца-то не жаль... с железками вы поторопились.

— Все равно давай... мы сейчас...

Калинкин выложил остаток от десятки, бородач что-то хотел сказать, но, как только буфетчица приставила свисток к губам, он вместе со своими дружками ринулся к выходу.

— Пойдите, мазурики! И вам за железки достанется!

Буфетчица преградила пусть бородачу и его компании, пронзительно засвистела.

— Милиция, милиция!

В утепленную дверь ларька просунулась голова дежурного милиционера.

— В чем дело?! — мрачно спросил он.

— Да вот, Петя, опять покоя нет. Этот в серой кепке,— буфетчица кивнула на голосистого остряка,— ругается как сапожник. А эти ларек в гараж превратили — видишь? — Она глянула на чокера.— Готовы к стойке паровоз подкатить, лишь бы ерша накушаться.

— Ваши документы? — так же мрачно спросил дежурный, обратившись к бородатому здоровяку и его компании.

— С собой не носим,— вежливо ответил бородач за своих приятелей.

— Тогда в отделение пойдем.

— И этого, Петя, уводи.— Буфетчица опять глянула на Калинин. — Он мазуриков спаивает, а они ему железо толкают...

— Вот ведь до чего додумались! И надо же на такое позариться. Пройдемте, гражданин в отделение,— обратился участковый к Якову.

— Нет, я в отделение не пойду.

— Как это не пойдете?

— А вот так, парень, не пойду, и все тут... вины за собой не чую! — Калинин начинал нервничать.

— Придется пройти, гражданин.— Милиционер взял руку под козырек.— Потому как эти железки краденые, и вы к ним имеете прямое отношение!

— Краденые??!

— Вот именно...

Яков удивленно посмотрел на чокера, отошел от стойки к нахохлившемуся бородачу, к притихшей компании.

— И не стыдно, ребята! Я к вам с открытой душой причалил... единственный червонец разменял, а вы? Ну что ж, пойдем, разберемся.

И откуда взялась у Калинин такая решительность, такая смелость! Раньше, до беседы с Просекиным, он обходил милицию за версту, но теперь, после душевной встречи с директором, Яков понял, что он, Калинин, и директор совхоза самые честные государственные люди и нечего им страшиться милиции.

Оказавшись в кабинете следователя, он, конечно, растерялся немного, но рук неотмываемых уж не стеснялся.

Следователь разложил на столе изъятые у Калинин документы и, ознакомившись с ними, долго молчал. Затем он поднялся из-за стола, взял в руку несколько чокеров, раздраженно бросил их обратно на пол.

— А куда вы деньги спрятали, Яков Арефьевич? Отвечай-

те по всем правилам и не вздумайте исказить факты,— мрачно сказал он.

— Какие деньги?

— Не притворяйтесь... Ведь вы же в город за дефицитом пожаловали.

— За каким дефицитом?

— Да вот, за этим самым...— следователь кивнул на чокера.— Дураку ясно... у нас не деревня... на шармака не объедешь... еще вчера были в вашем совхозе и честь имели беседовать насчет этих самых железок.

— Чего?

— Хватит чевокаты!

— Вот видите, что это?

— Чокера...

— А вы знаете, чьи они?

— Откуда мне знать?

— Тогда слушайте внимательно и постарайтесь давать показания коротко, ясно. Вот эта железина,— следователь поднял с пола длинный стальной трос, положил на стол,— снята с грузовой машины, где начальником товарищ Романов. Надеюсь, вам известна его фамилия и какой он пост занимает?

— Неизвестно...

— Понятно... Так и запишем. Эх вы, Калинин, или прикидываетесь дурачком, или в самом деле странный какой-то. А вот эта штука откуда, знаете? — Следователь достал из сейфа кусок толстого троса с гаком на конце.

— Нет, не знаю...

— Железина вытащена из служебной машины всеми почтенного директора гидролизного завода.

Следователь что-то написал в протоколе, достал носовой платок, вытер вспотевший лоб.

— Уму непостижимо! Снять трос с чертова колеса в центральном парке? Заставить его крутиться вместе с космической каруселью! Ведь эти две огромные «дуры» и сейчас ветер раскручивает... Остановить не могут! Вы слышите, какой ветер на улице?

— Слышу.

— Тогда зачем пакостить?

— Вы что, за вора меня принимаете? — резко спросил Калинин.

— А кто вы?

— Я?! Да мы с товарищем Просекиным честные государственные люди!..

— Спокойно! Червонец-то вы за какие такие шиши этим троим наемникам выделили?! Ведь они вас и заложили. Молчите лучше!

— Вот оно что? У меня слов нет...

— Ну что ж, так и запишем. Возражений обвиняемый не имеет, слов тоже... то есть полностью признает свою вину.

— Какую вину?

— Воровскую... Вор ты, братец, и не отпирайся, хотя бы ради того, чтоб наказание смягчить. Скажи честно, приехал в город за железками, а так как одному возиться с ними несподручно, решил подыскать подходящих собутыльников, на шармака к воровству склонить.— Следователь помрачнел, нахмурился.— Так что до полного выяснения обстоятельств тебе придется посидеть в камере предварительного заключения, а дальше, сам понимаешь, срок... групповое хищение, статья № 96, от года до пяти.

— Да вы что, рехнулись?

— Разберемся... разберемся.

Калинкин сел на стул, обхватил голову обеими руками.

— Дайте мне поговорить с бородачом,— со вздохом обратился он к следователю.— Ведь он свидетель.

— Не свидетель, а сообщник. Во-вторых, его зовут Матвей Сергеевич Разливин. Ну что ж, если хотите поговорить, я не против.

Следователь попросил позвать гражданина Разливина.

В комнату вошел, как показалось Калинкину, совсем другой человек: глаза горели хитростью, губы изображали улыбку.

— Ты что, борода,— сразу обрушился на него Яков,— и меня в свои железки впутываешь?

— Спокойно! — вмешался следователь.— А как же вас не впутывать, если вы этими самыми чокерами весь совхоз снабжаете. У вас что, кузница на дому?

— Вот именно,— подхватил Разливин.— Нужен, мол, дефицит, а сам перед моим носом червонцем размахивал.

— Чего?! Я тебе сейчас не червонцем помашу, двуличный гад! Калинкин поднялся со стула, сжал широкие ладони в узловатые кулаки.

— Да нам теперь с товарищем Просекиным никакая акула, никакая гнида не страшна! А вы что делаете?

На совещании директоров совхозов Просекин выступал около двух часов. Регламент был не больше двадцати минут, но поскольку его совхоз единственный в районе выполнял план, то райком позволил не ограничивать товарища Просекина во времени.

Выступление его было последним.

— Конечно, бригадный подряд — это не худо,— говорил директор,— но главное, я повторяю еще раз,— люди! Дело здесь не только в организации труда. Пора относиться к рабочему человеку как к творческой личности, умеющей самой организовать себя на добрый поступок. Я приведу вам множество фактов. Например, Калинкин...

Именно в эту роковую минуту в отделе сельского хозяйства, где проходило совещание, прозвенел звонок из милиции.

Следователь встретил Просекина с торжествующей улыбкой.

— Вот мы и продолжили наше знакомство, Матвей Евлампиевич, правда, не запланированное...

— Так ведь это прекрасно! Я вас в своем совхозе рад видеть, а вы, наверное, здесь...

— Конечно... вы там, я здесь... Только вы там без милиции живете, порядка меньше. А у нас тут все оцеплено, полный порядок.

Директор задумался, внимательно посмотрел на районного следователя Митю Черняева, известного во всем районе мастера спорта по стрельбе из малокалиберной винтовки.

— Ты знаешь, уважаемый Митя,— неожиданно мрачно заговорил он,— непослушных коров мы тоже пастухами оцепляем.

Так сказать, искусственно порядок создаем, но всех млекопитающих не оцепишь!

— На что вы намекаете?

— На то, что людей оцеплять нехорошо, жестоко...

Следователь усмехнулся, пристально посмотрел в светлые глаза Просекина, предложил сесть.

— Уважаемый Матвей Евлампиевич, вы даже не подозреваете, до чего довела вас доброта! Да, да, именно доброта. Ведь мы с прокурором не зря заезжали к вам в совхоз... и в поле были, и на ферме, и в отделе кадров полдня просидели. Уму непостижимо! Народец-то у вас со всей России работает, кого только нет! Одних уголовников амнистированных тридцать восемь человек насчитали, тунейдок, сосланных из больших городов, около двадцати, из ЛТП — девять. Зачем превращать совхоз в исправительно-трудовую колонию?

— Работать некому, дружище, потому и не приходится особо выбирать, а шабашники с юга за такую плату не хотят работать.

Директор исподлобья покосился на следователя.

— К тому же я в детском доме рос, знаю, как важно вытащить человека из беды.

— Любопытно. Как мне известно, вы начали работать в совхозе обычным слесарем?

— Ты что, дружище, опять допрашиваешь меня? — нахмурившись, пробурчал Просекин.

— Можете считать как угодно, но на Калинкина заведено уголовное дело.

— За какие такие грехи?

— За чокера.

— Чего?

— За чокера, говорю.

— Постой, постой... что-то у меня в голове не укладывается.

Директор удивленно, даже растерянно глянул на следователя.

— Ворует он эти самые железки,— сквозь зубы процедил тот,— наши ребята засекали.

— Не может быть, Митя?!

Следователь вытащил из-под стола связку стальных тросов.

— А это что, по-вашему?

Директор поднялся со стула, внимательно осмотрел улики.

— Давно засекли?

— Сегодня.

— Как сегодня? В городе, что ли?

— А где ж еще...

— Тогда все понятно.— Просекин перевел дыхание, неожиданно заулыбался.— Ведь он у меня в городе, наверное, лет десять не был, а то и больше...

— Ну и что?!

— А то, что ты, Митя, в законах человеческой души ни бельмеса! Книгами обложился, как твой дружок прокурор, а тут пусто.— Просекин сильно постучал себя по лбу.— Да где вам понять душу русскую, если вы наичестнейшего человека вором нарекаете!

— Прошу полегче, товарищ Просекин!

— А чего полегче-то! Фасону у тебя, Митя, с лихвой, а груздь с поганкой спутал! Да ты знаешь, что за человек этот Калинин!

— Обычный слесарь...

— Нет, не обычный! Обычный ты, потому что шила от мыла не отличишь, хотя и с ромбом на груди. Яков мой — душа всего совхоза! Каждый мужик за него заступится! Каждый как за самого себя, и я в том числе! А за тебя кто заступится? Прокурор? Начальник милиции? Сомневаюсь...

— Отчего ж так, Матвей Евлампиевич?

— Да от того, что на лосей в одном и том же месте охотитесь... Конкурируете меж собой, черти руководящие! — Просекин неожиданно засмеялся, и смех его был настолько заразительным, что следователь тоже повеселел.— Прошлым годом как-то все начальство в районе, словно по сговору, в командировки укатило. Звоню в райисполком, председателя нету, в лесхозе тоже начальство отсутствует, я в Госпромхоз, и там пусто... а спустя дня три в лес пошел, глазам не верю... в дальнем урочище вездеход



стоит, и на нем сам товарищ Романов с карабином в руке. Я на лыжах их объехал тихонько и вдруг на зампредседателя райисполкома наткнулся. Помнишь, Митя, ведь и ты там был?!

Следователь ничего не ответил, помолчал, насупился.

— Значит, Матвей Евлампиевич, вы считаете, что Калинин не виновен? — после долгого молчания задумчиво спросил он.

— Уверен в этом.

— Но ведь мы его с поличным... он портовых бичей спаивал, а те ему чокера воровали... правда, денег у него всего десятка оказалась.

— Это моя десятка, Митя! — вдруг громко почти выкрикнул Просекин. — Это я всучил ему десятку, по случаю праздника! На любом суде докажу...

— Какого праздника?

— Да нашего, Митя, нашего, совхозного! Ведь люди у нас намного честнее, чем вы думаете.

## ПОСЛЕДНИЙ ПОКОЙНИК

### *Рассказ*

Валька Кузнецов был родом из глухих северных мест. Если б не ранняя смерть матушки, он бы никогда не уехал из деревни. Внезапная потеря потрясла его — матушка для Вальки была все — и отца заменяла, и бабушку. Днем и ночью о ней вспоминал Валька. Возвращается он из совхозного гаража с работы, глянет на светелку — ноги подкашиваются, водонос в руки возьмет — сердце ноет. В открытом поле голос ее мерещится.

Не выдержал, заколотил дом, в город подался.

Много пришлось попястаться парню на разных работах, наконец пристроился на птичьих правах в редакцию местной газеты, заметки писать, по пять-десять строк, информации всякие, а иной раз стихи к знаменательным дням. Образования специального у Вальки не было, и он боялся, что редактор его уволит. Но редактору нравились Валькины заметки. Правда, он частенько

упрекал автора в школярстве, но сумел подметить также и оптимизм, и честную критику, и дотошность. Даже ставил его в пример опытным штатным сотрудникам. А на последнем производственном собрании предложил самоучку Кузнецова перевести на должность спецкора.

Валькиной радости не было предела. Даже стихи новые редились. Валька шел по улице и декламировал.

Певучий северный простор,  
мне дороги твои проказы,  
на соснах мягкие лабазы,  
о рыбе вкусный разговор.  
Люблю твою лесную грусть:  
болот нетронутые дали,  
поморов, что всегда искали  
в глухих суземьях сочный груздь.

Быть спецкором и писать о том, что волнует не только его самого, но и земляков района, казалось несбыточной мечтой.

Как-то раз Валька возвращался с гидролизного завода, обнаружив там большие санитарные нарушения. Пожилая женщина, с которой он беседовал в цехе, и по его вопросам, и по интонации «усекла», что от этого, как она определила его для себя, «настырного газетчика» того и жди какой-нибудь пакости. Так вот, и пяти минут не прошло, как Вальку за проходной нагнали желтые «Жигули». За рулем сидел сам хозяин предприятия Иван Константинович Маколюхин. Он притормозил машину и, выйдя из нее, приветливо улыбнулся.

— Привет, корреспондент!.. Мне-то на твои заметочки наплевать, но вот в вредственном отделе, а у меня там свои люди, хотят тебя утихомирить... Я им сказал — не надо. Он парень толковый, я с ним сам разберусь.

Открыв багажник, Маколюхин вытащил литровую бутылку с прозрачной жидкостью и сунул в руку Вальке.

— Прими сувенир, дружок, и уразумей навсегда, кто здесь хозяин.

Валька не шелохнулся. Бутылка выскользнула из его рук и, стукнувшись об асфальт, разбилась. Одна Валькина брючина, от колена донизу, стала влажной и остро запахла спиртом.

— Так! — усмехнулся Маколюхин. — Значит, без взаимности?! Ну ладно... — Он сел в машину и погнал ее к своей конторе.

В редакцию Валька вернулся в скверном настроении. Некоторое время он сидел за столом словно парализованный. Четыре года назад директор гидролизного вместе с редактором приехали на охоту в его деревню. Еще тогда он почувствовал, что дружба шефа с Маколюхиным ничего хорошего не сулит. Но решил стоять на своем — принялся писать очерк «О хищении гидролизного спирта работниками завода».

Очерк получился острым и ко времени. Но опубликовать его так и не удалось. Вальку вызвал в свой кабинет редактор.

— Пиши заявление, — сухо приказал он.

— На должность спецкора? — обрадовался Валька.

— Нет, дорогой умник, на должность правдоискателя, — сосрился редактор и поднялся из-за стола. — А я, дурак, чуть было и в самом деле спецкором тебя не сделал... В общем, садись и пиши заявление. По собственному желанию.

— Вы что, за очерк, Феофан Ильич? — взорвался Валька. — У Маколюхина ползавода жуликов!

— Ты мастер слова или сотрудник милиции? — спросил редактор. — Учись у современных классиков жизнь понимать многогранно, без преступлений и наказаний... Кроме того, не в капиталистической системе живем, начальство уважать надо...

— Вы это серьезно?

— А ты как думал. Хватит редакцию в следственный отдел превращать! Пиши, пиши, пока по статье не уволил.

И поехал Валька обратно в свою деревню.

Ехал он от райцентра на попутной машине с мукой. Знакомый водитель предупредил:

— Садись, парень, только с условием — выгружаем вместе.

— Ну что ж, помогу, — согласился Валька. — Главное, засветло дома быть.

До первой разгрузки машина шла два часа. Мешки оказались по семьдесят килограммов, но Валька терпел.

Поехали дальше. Сначала дорога была сносной, но к полудню разыгралась такая метель, что машину пришлось остановить.

— Переждем малость,— мрачно предложил водитель.— Хорошо — термос прихватил. Давай чайку похлебаем...

— А может, поедем? Еще час-другой — и я дома...

Водитель, отхлебнув из термоса, усмехнулся:

— Успеешь...

К последней разгрузке Валька так ослаб, что мешок взвалить на плечи самому не удавалось.

К вечеру насилу добрались до Лихих Качелей, Валькиной деревни, вернее, до тропки в полукилометре от нее.

— Наконец-то,— вздохнул он.

Из последних сил снял с двери железную плаху, зашел в дом и поднялся по лестнице в зимнюю горницу.

Вечной мерзлотой пахло от бревенчатых стен, пола, потолка. «Надо бы переодеться... я весь мокрый... Но во что?» Валька хотел включить электрообогреватель, но света не было. Видимо, старые провода, протянутые к дому, заледенели и лопнули. Он зажег керосиновую лампу, принес с повети дров, разжег печь и плиту.

От жаровни пахло теплом, но в горнице было по-прежнему холодно. По крутой лестнице Валька спустился во двор, набил снегом чайник и, поставив его на плиту, стащил с себя потную одежду. Голова у него кружилась. Все тело коржило от озноба. Отдышавшись, он попил горячего чаю, лег на влажную, еще холодную постель, но уснуть не мог, а если засыпал, то вздрагивал во сне и снова просыпался. Мучили сны. Снилось ему то солнечное лето, то прежняя многолюдная деревня, то покойные родственники, то белоснежный цвет черемухи.

Проснулся он среди ночи. Кто-то стучался в избу.

Валька поднялся с постели, распахнул дверь и ахнул. На пороге, словно в тумане, стояла покойная матушка.

— Не пришла бы, сынок, да жалко тебя стало,— заговорила она.— Простуда тебя скрутить должна... Вот на этой деревянной кровати, в этой светлой горенке все твои родичи по-

чили... А ты сынок, ежели хочешь быть в страданиях вместе с живыми, выслушай мой наказ.

Матушка присела на табурет в темном углу, занавешенном камусовым ковром, и тут Вальке показалось, что и не матушка это вовсе, а какая-то другая женщина, и он чувствовал, по всем признакам чувствовал, что хорошо знает ее — эту женщину-старуху, сидящую в углу.

— Сегодня придет к тебе последний житель нашей деревни дед Тимофей,— приглушенным голосом сказала старуха.— Собирается он тебя лечить снадобьем... Ох уж это снадобье! Для него это дело доходное: полечатся люди, попьют несусветного зелья, действует оно постепенно, не подкопаешься, и уходят в другой мир, и ему кое-что перепадает... Так он не одну душу загубил. А дом рубленый за пятнадцать тыщ поставил...

«Да откуда же я знаю старуху эту»,— пробовал вспомнить Валька, но вспомнить не мог.

— А ты, сынок мой, будь похитрее его...— продолжала старуха.— Возьми да сразу и напиши Тимофею завещание на свой домик и скажи хитрому лешаку: снадобье мне ни к чему, потому как жить ты больше не хочешь, а вот самогоном пусть он тебя уважит да баню жаркую пусть истопит — грехи перед смертью отмыть...

Старуха поднялась.

— Все запомнил, что я сказала? — со вздохом спросила она и нехотя, словно желая сказать еще что-то, скрылась в дверях.

— Вот чертовщина-то! — обожгло Вальку.— Ведь я знаю, что нету ее, нету! А похожа! И пальтишко — ее!

Когда Валька очнулся, метель уже успокоилась. Он глянул в окно и опять удивился безлюдью и жуткому безмолвию когда-то многолюдной деревни, насчитывавшей более сорока дворов. Яркие солнечные лучи поползли по стенам просторной избы, и горница показалась наполненной мутной водой.

«Это от пыли»,— решил Валька. Он с трудом поднялся, глянул в окно. Со стороны соседской избы, прямо к его калитке,

тянулись следы соседа Тимофея Шустрого. Так его прозвали за то, что любое дело, за которое он брался, всегда оборачивалось только в его пользу.

В передней горенке сначала послышался кашель, потом старческий шепот.

— Господи, внемли молитвам раба божьего...

— Тимофей? — тихо спросил Валька. — Ты чего там делаешь?

Из передней вышел седой старый человек, роста маленького, внешности непримечательной.

— Здорово, Валентин! В щель твою туды... — с ухмылкой проговорил он, подходя к старинной деревянной кровати. — Крепкий у вас род, сохатиный... Очнулся, значит?! Видать, не судьба... Ну, теперь мы тебя вылечим!

Вальке не по себе стало от этих слов.

«Может, это и не сон был», — с тревогой подумал он.

— Ты по делу в деревню пожаловал али как? — строго спросил старик.

— Отдохнуть надо от города да на могилу матушки сходить.

— Так, так... А на вид — нездоровый... Ладно. Лечить тебя буду, — торжественно объявил старик. — Как следует, самым проверенным снадобьем!..

«Удивительно, — подумал Валька. — Дед ведет себя точно по предсказаниям матушки. А говорят, вещих снов не бывает!»

— А ну-ка, парень, сбрось-ка одеяло да на живот ляг, — командовал Тимофей.

Валька повиновался.

— Та-ак! Внутри будто медведь храпит... Щас я лекарство принесу...

На глазах Вальки навернулись слезы: он и сам не понял от чего: то ли от беспомощности своей перед болезнью, то ли от воспоминаний об умерших родичах.

— Ты чего разнюнился?

— Я здесь не хочу оставаться, — почти шепотом ответил Валька, — и туда идти страшно...

— Ишь ты, забрало, видно... Да не дадим мы тебя просто так спровадить, никак не дадим,— улыбнулся Тимофей, шаря глазами по избе.— Домик у тебя хороший... пятистенный, печка добрая... живи пока... Я тебе угождать буду... Снадобьем на ноги поставлю, а там и девки к тебе дrolиться приедут. Дородные... Хошь, из райцентру, хошь, из Крутолесья! Здесь-то уж их не раздобудешь... Хи-хи...

— Из Крутолесья?! — вскричал Ванька.— Не до дrolенья! Тошно мне! Принес бы лучше бутылочку самогона...

— Вот заладил,— с досадой пробурчал Тимофей.— Тошно, тошно! А дом-то на кого оставишь? Он ведь у тебя сосновый просмолок, веки вечные простоит.

— На тебя оставлю, Тимофей Гаврилович, на тебя, дедушка! — почти выкрикнул Валька, да так громко, что дед перекрестился.— Давай бумагу скорей, сейчас завещание нацарапаю! Неси ручку! Закружится голова — поздно будет...

Старик оторопел.

— Ох-хо-хо... Ты что, и впрямь отходишь?!

Тимофея из горницы словно ветром сдуло, он даже полушубок не запахнул, несмотря на ветер и колкий снег.

— Про бутылку не забудь! — крикнул вслед Валька, а про себя подумал: «Да ведь для такой мерзости и слов-то не подберешь... Людоед в законе! Нет, нет! Кровосос! Дверь-то на мороз так и не закрыл!»

Тимофей воротился в горницу так же тихо: Валька даже не слышал шагов, а когда открыл глаза, то увидел близко склонившееся лицо, крысиные глазки.

— Вот, Валюша, два листка бумаги принес да авторучку до отказа заправил,— зашептал Тимофей.

— Зачем два листка? Мне одного хватит.

— Так ведь дом-то у тебя, ого-го! Тут утвари — от четырех поколений, одни кресла разные чего стоят... Или кресла-то не мне отпишешь?

— Тебе, все тебе, дедушка...— еле слышно выдавил Валька и опять закрыл глаза.

— Ох, Валюша, совсем ты плох,— засуетился Тимофей.—

А я-то, старый дурак, снадобье-то взял, а про самогонку забыл! Да ты не серчай на дедушку Тимофея... Хи-хи... Я щас сбегаю...

С самогоном старик вернулся быстро.

— Вот тебе, Валенька, литровая банка... Только не серчай на дедушку, память дырявая... Мне для тебя и литру не жалко! Я ведь тебя, голубчик, со всеми почестями,— зашептал он,— по всем правилам похороню. У меня и домовинка готова... который год в избе покоится, из осины отстойной, сам парил... Только ты, в щель его туды... подробнее напиши, чего мне оставляешь, с пояснениями. Дескать, сначала двоюродные дядья померли, потом отец родной, давно это было, потом мать... и вот как есть никого, отсюда и...

— Хватит! — не выдержал Валька.— Сам-то пьешь?

— Я-то?..— И Тимофей вдруг ехидно и неестественно захихикал.— Редко пью... Когда того... ну, когда ухаживаю за кем-нибудь из приезжих... А ты-то щас выпей, сразу, ведь оно того...— И он опять захихикал, и на этот раз Валька заметил, что в кармане его полушубка еще одна бутылка. И удивительно — точно такая же, как у директора гидролизного завода.

— А по-моему, тебе сейчас в самый раз выпить, уважаемый Тимофей Гаврилович,— твердо сказал Валька.— В порядке исключения! Как заслуженному труженику...

— Ну, погодь... погодь... Невозможно это: у меня работа — завсегда трезвым обязан быть. Я ведь за всей деревней слежу, а в ней добра-то сколько! Одних овец сорок голов, дом двухэтажный, усадьба, гараж, и все мое, не государственное... государство жалованье мне платит за то, что я два совхозных сенохранилища сторожу да землю пахотную, но ведь это крохи...

— Ну что ж... Давай бумагу.— Валька чуть поднялся с подушки и, взяв у старика авторучку, кое-как нацарапал завешание на дом и все имущество, которое в нем находилось.— Вот и все... Только у меня еще одна просьба есть...

— Говори, говори, Валюша! Любую просьбу выполняю, потому как ты нынче...— старик вдруг осекся и, выбрав удобный момент, попытался незаметно взять завешание из рук парня.

— Не торопись, Тимофей Гаврилович. Дело-то ведь очень



серьезное...— Валька сунул бумагу под одеяло.— Я ведь тебе даром дом отдаю, а по страховке он двенадцать тысяч...

— Так-то оно так... Но ведь я тебе добром отвечу... по всем правилам не только с домовиной отстойной, но и с музыкой модной, чай, не без транзистора живем, да и пропаганду газетную подкупаем... А что ж за претензии у тебя?

— Просьба, дед... прошу тебя, Тимофей Гаврилович, баню истопить жаркую, по-черному...

— По-черному так по-черному,— угодливо поддакнул старик.— Только с завещаньем-то как быть, дороганушко?

— А никак! Я ведь живой еще, а ты со мной как с покойником разговариваешь...

— Ну, ну, Валуша, не хотел я тебя обидеть...

— А может быть, без завещания обойдется?

— Как так?

— Да я снадобье-то твое принял, вдруг поможет...

— Должно помочь. Да одно другому не мешает... Завещание пусть покамест у меня будет как у твоего старшего уважаемого наставника, ну а ежели дело решится в твою пользу, обратно получишь чего причитается...

— Ладно, бери...— Валька достал бумагу из-под одеяла, протянул деду.— Но чтоб баня сейчас же была.

Старик дрожащей рукой взял завещание, поспешно положил в карман.

— Бегу, топить бегу! — И действительно побежал к себе.

— Двери закрой! — крикнул ему вслед Валька, но старик то ли и в самом деле не слышал, то ли сделал вид, что не слышит.

— О-го-го... Вот ведь налим-то клюнул,— радовался он, приближаясь к своему дому.— Валькины хоромы! Это ж уму непостижимо! Одних окон двадцать четыре штуки, сеновал на восемнадцать возов, светелка поднебесная! Ежели дело выгорит, терем покойника продам, другую хозяйку смекать буду, а эту, как инвалида, в дом престарелых, а то и к сыну в Нарьян-Мар...

— Марея, где домовина моя? — спросил он, войдя в натопленную горницу своего дома.

— На чердаке, Тимоша, а что? — насторожилась старуха.

— Ты чего накуксилась? Я ж не для себя ее спрашиваю.

— А говорил, что последнюю домовинку для себя присмекал.

— Э-э, размечталась! Еще чего!

Тимофей поднялся на чердак, осторожно ступая по лестнице, словно по сучковатой лесине.

«Хорошо бы теперь после снадобья метель запластала... — размышлял он, — дней на пяток. Любая тварь от стужи до тьмы скуксится, а парень, как стакан с водой на морозе, треснет».

Домовину найти было нетрудно, потому как для старика она была ценной вещью, да и немалых размеров. Тимофей, быстро сбросив тряпье, отложил крышку гроба в сторону, на глаз прикинул длину выдолбленного пространства. Желая примерить его поточнее, он задумчиво опустился в гроб, положил руки на грудь, закрыл глаза, замер, потом позвал.

— Марея! А ну, поди сюда!

— Чего тебе? — запыхавшись, отозвалась жена, с трудом вскарабкавшись на чердак по крутой лестнице. — Тимоша, ты пошто в гробу лежишь? Ведь ты же еще жив, Тимоша?

Жена расплакалась.

— Ну-ну, не хнычь. Кто домовиной не любовался, тому и корыто диво! Хорошая штука, даже жалко отдавать.

— Это кому же? — удивилась старуха.

— Да Вальке Кузнецову... На ладан дышит. Христом богом просил меня позаботиться...

— Ой, Тимоша!

— Не веришь? — Тимофей вылез из домовины, достал завещание. — Читай, ежели не веришь.

Старуха надолго уткнулась в Валькину писанину.

— Боюсь тебя, Шустрый, — сквозь зубы процедила она. — Тридцать лет рядом, а не привыкну. Такого загребущего во всем свете больше нету! — Она положила завещание на край гроба, и глаза ее округлились. — Значит, в свою копилку еще один дом сгреб?

— Со всеми потрохами! И вины моей нет... Просто мне люди добром за добро платят...

— А у меня после таких завещаний сна нет, и Вальку жалко, почитай, и не жил еще...

— Ну ладно, зажужжала оса, уходя под небеса!

На второй день метель опять усилилась, и в горенке заметно похолодало. Самочувствие Вальки не улучшалось. Он принес дров из сарая, вновь затопил печь, плиту и, облив длинное полотенце самогоном, несколько раз обернул его вокруг себя. Задрожав всем телом, он надел поверх полотенца овчинную безрукавку и, укрывшись ватным одеялом, задремал.

Сколько прошло времени, он не знал, но очнулся от какого-то странного шороха. Он приоткрыл глаза, оглядел избу, и голову его опять словно стальным обручем стянуло.

В сумерках просторной горницы у двери стоял большой гладкоструганый белый гроб. Рядом Тимофей протирает крышку. Валька закрыл глаза, даже не заметив по соседству с Тимофеем старуху. А она почти со слезами уже спрашивала у деда.

— Спит парень-то али помер уж?

— Я тебе велел транзистор взять! — отрезал Тимофей.

— Да вот он, ослеп, что ли? — ответила старуха жалобным голосом.

— Хорошо бы музыка праздничная была... Да где ее найдешь тут?! Главное ведь, по всем обычаям... По всем правилам... Вальюша! — заботливо, даже с какой-то отеческой лаской окликнул Тимофей. — Глянь-ка, какую шкатулочку я тебе присмекал... Уговор дороже денег... Однодеревая, из красносельского бора. Запаху несусветного... Или уж не слышишь меня?

Валька не открывал глаз и не отвечал. Компресс на самогонном питье делал свое дело. Парня бросало то в жар, то в холод. На какое-то мгновение ему стало полегче, температура спала, но слабость не покидала.

Старуха включила транзистор. Валька от неожиданности открыл глаза, уловил колючий, настороженный взгляд Тимофея.

— А-а-а, Тимофей Гаврилович! Чего смекаешь?

— Да вот, сам видишь, домовина хоть куда, внеплановая... Мы-то свое слово завсегда держим...

— Ты на что намекаешь! — не выдержал Валька. — Что я в срок не уложился, не умер еще?

— Господь с тобой, — забеспокоился Тимофей. — Чего обижаться... Домовина-то уже здесь...

— Да ты, я вижу, Тимофей Гаврилович, после моего завещания совсем башку потерял! — прохрипел Валька. — Или она у тебя всегда только думками о наживе набита?

— О чем мне еще думать? — усмехнулся старик. — О красе лесов, полей и рек? Вспоминать несправедливости разные или глупости? Или о боге?! Так я в него не верую, в щель его туды! Для меня он пустой звук.

— Я ведь слышал, как ты молился.

— В сумлениях был, — вывернулся Тимофей. — Удаче не верил, вот и молился на всякий случай.

Старуха положила транзистор на крышку гроба, всхлипывая, бочком вышла из избы.

— Как же это получается?! — никак не мог успокоиться Валька. — Вырос ты, Тимофей Гаврилович, на земле, предки твои в голодный год ершом последним делились, мякиной... Когда хворь подкашивала, всей деревней лечили от злых недугов! А с тобой-то что случилось? Как ты от людей отбился?

— Такие вот грамотей, как ты, и отпихнули меня, сначала от землицы, а потом и от человекoв! — неожиданно вспылil дед, вглядываясь в глаза Вальки. — Раньше поле-то, хотя бы мое, все вместе обрабатывали, почти вручную, оттого и душу чуяли друг дружки, а ноне?! Поставил трактористу бутылку водки, и шабаш. Он и скосит, и вспашет, и без твоего участия бутылку высьет... Понял я однажды, что можно без особого труда жить в довольствии.

— Это ошибка, — еле слышно прошептал Валька и вдруг почувствовал, что ему становится хуже.

— Никакой ошибки! — заулыбался дед. — Просто беспокойный ты человек, Валуша. Говоришь, без людей не можешь, однако

моей заботы не оценил... Вот тебе транзистор — для панихиды, сынок... Может, тебе питание принести? Совсем ты отощал перед кончиной-то. Ноне, новопреставленный Валенька, от нас все зависит, и музыка, и питание, и панихида... К деревне-то щас даже амфибия не подходит... Снегу жуть!

— Хорошо у тебя, Тимофей Гаврилович, все складывается,— прошептал Валька, ощущая все большую и большую слабость во всем теле.— Только скажи честно, тебе не жаль меня, ведь я же еще молодой?

Старик задумался и, не ожидая такого вопроса, даже немного растерялся.

— Оно, может, и жалко, но сам посуди, хворь-то свое возьмет... А не имей я твоего завещания — все здесь прахом пойдет... А так я на твой дом «Буран» новый куплю, мотор подвесной, лодку алюминьку. Все лоси мои... Главное, Валюшенька, никого, кроме меня, не осталось. Я теперича полный хозяин во всей деревне, может, и для государства чего присмекаю... Кооператив бы по продаже этих самых долбленок открыть...

— Здорово! — покачал головой Валька.— И все-таки непонятно, как же вы дальше жить будете, Тимофей Гаврилович?

— Как завещал, так и будем,— усмехнулся старик и вдруг засуетился.— Может, домовинку-то примерим, а? Штука-то уж больно дородная... Работы редкой... Необыкновенной... Правда, и транзистор-то не худой, Америку ловит. Примерим гробик-то?

Валька не ответил. Закрыв глаза от слабости.

Скрипнула дверь, и холодная струя морозного воздуха просочилась в избу.

«Значит, Тимофей Гаврилович ушел... Выждать ушел...» — подумалось Вальке. Ему снова стало плохо: голова кружилась. Он кое-как поднялся с постели, прикрыл дверь в избу, закрыл на железный засов дверь в горнице.

«Хорошо, что самогон еще есть... Надо лечиться, а то дед и в самом деле упекет...» Он посмотрел на домовину, вернулся к постели, снял свитер, рубаху, овчинную безрукавку.

Полотенце прилипло к телу. Достав из-под кровати само-

гонное зелье, Валька еще раз намочил полотенце и, завернувшись в него, снова глянул на домовину.

«Сколько интересного на земле! Сколько еще непережитого, непонятого... а ведь запросто можно загреметь в эту шкапку...»

Пошарив рукой под мышкой, Валька взгляделся в еле заметный столбик ртути и, соскочив с кровати, оделся.

— Тридцать шесть и три! Жар спал, одна слабость осталась да боль в голове. Эх, оказаться бы сейчас в тепле среди добрых, честных людей. Вот только где они! Где?

Он посидел на постели, затем подошел к низкому оконцу, взгляделся в летящие за окном снежные вихри. Отошел от окна, и опять домовина встала перед глазами. На этот раз Валька подсунул под нее половик, чтобы она лучше скользила по полу, ухватился обеими руками, потянул к выходу и выбросил с крыльца.

— Вон так вот! Я жить хочу! — И в душе полегчало. Он лег в постель и незаметно погрузился в дрему. Во сне он увидел снова ту самую старуху соседку, что являлась к нему наяву с транзистором. Потом старуха исчезла, превратилась в круглолицую девочку лет десяти, но со старыми собачьими глазами.

«Чудак ты, Валька,— вкрадчиво шептала она.— Ценишь доброту выше богатства... Ведь богатство — вечность, а ты всего лишь ее мгновение...»

Валька хотел возразить, но не смог пошевелить губами и проснулся. А когда зажег керосиновую лампу и огляделся, то по телу опять пробежала дрожь: в остывшей горнице, в том же углу, на прежнем месте стоял проклятый гладкоструганый гроб. Только на этот раз одна половина его была аккуратно покрыта белым саваном, а в изголовье гремел металлической музыкой транзистор.

Загасив керосиновую лампу, Валька поднялся с постели, на ощупь выключил транзистор и опять подошел к окну.

— Ну что же, дедушка,— сказал себе самому.— Придется клин клином вышибать, любимыми средствами придется... Э-эх! Жаль, голова кружится от жизни пропадащей...

Метель за окном наконец-то унялась, и звезды рассыпались по небу до самого горизонта. Такая тишина стояла во всей деревне, что было слышно, как где-то в лесу гонялся за своей добычей сыч-тетеревятник. Весь низкорослый лес около деревни был озарен полнолунием.

То ли напряженная тишина, то ли отдаленный гул приближающегося мотора заставил Вальку прислушаться.

«Неужто сюда едут?! — Он надел отцовские валенки, нахлобучил зимнюю шапку, вышел на крыльцо. — Кого же это занесло в такой час? По-моему, на «Буране»... К кому, интересно...»

Он довольно уверенно сделал несколько шагов по снежному насту, дошел до конца изгороди и увидел в окне Тимофея свет.

В этот момент до Валькиного слуха донесся отчетливый рокот приближающегося «Бурана». По всей видимости, водитель старался объезжать слишком глубокие снеговины и поэтому долго петлял. Но вот, оглушая снежное безмолвие, мотонарты показались со стороны леса и направились к дому Тимофея. Они были с удобным самодельным прицепом, напоминавшим приземистые розвальни. Валька замер в тени изгороди, вглядываясь в яркую лунную ночь, и вдруг чуть не вскрикнул: водителем «Бурана» оказался Маколюхин — директор гидролизного завода.

— Ну что, батя! Быть бычку на веревочке, мясу в котомочке! — сострил Маколюхин, приглушив «Буран» у крыльца Тимофея. — Отцепляй сани. — И, оглядевшись, спросил у Тимофея: — В соседнем-то тереме кто живет?

— Да жил один... — усмехнулся старик. — Помер, пакостник, в щель его туды!

— А у меня почин! — усмехнулся Маколюхин, нагибаясь к саням. — Гляди! Сохатинка...

— Везучий вы, Иван Константинович, — оживленно отозвался старик, чуть-чуть выделяя голосом, что разговаривает не с кем-нибудь, а с самим директором завода. — Прошу пирога с брусничкой отведать.

Они прошли в избу.

Валька что есть мочи бросился к дому старика, первой по-

павшейся лесиною наглухо придавил кованую дверь и, прицепив сани с сохатиной к «Бурану», завел мотор. Двигатель был еще теплый, машина взревела, вздрогнула и ходко покатила через снежный наст.

Не проехав и полкилометра, Валька услышал позади приглушенные выстрелы гладкоствольного ружья, потом мощные раскаты современного карабина, оглянулся и увидел, что его преследуют на «Буране».

«Надо отцеплять розвальни,— застучало в сердце.— У Тимофея «Буран» мощный... От погони не уйти. Нет! Без улик мне не поверят...» Он прибавил скорость. Но уйти от браконьеров не удалось. Валька хотел уже остановить машину, чтобы отцепить розвальни, но обнаружил, что бензина в баке осталось меньше литра. Несколько минут он мчался по заснеженной равнине, не выбирая дороги и подминая на своем пути мелкие кустарники и низкорослые елки, но потом развернул мотонарты.

До браконьеров оставалось всего несколько метров, он уже видел оторопевшее лицо директора завода и хитрые глазки Тимофея, как вдруг словно каленым железом обожгло предплечье. Валька запрокинул голову назад, но оцепеневшие руки продолжали сжимать руль «Бурана» до тех пор, пока машина не врезалась в обезумевших людей...

## МИШКА-ГРАММОФОН

У Мишки Стелькина луженая глотка. Идет, бывало, по лесу и так гаркнет, что все сороки с веток падают.

Когда дядя купил старый дом на берегу Северной Двины, то Мишка получил приглашение приехать и обжить его.

— Дело-то выеденного яйца не стоит,— весело подмигнул он сестре Дуне.— Приеду, выпью для крепости стакана два домашней сметаны, выйду на поветь да как заору:

— Домовой! Домовой! Не пужай ты нас, родной!

Если будешь нас пужать, и тебе несдобровать!

Не боялся Мишка ни тьмы кромешной, ни черта лысого, ни дьявола косматого, ни самого домового.



Однажды они с дядей на сенокос поехали. Подъезжают к та-мошной избенке и глазам не верят. Дверь избенки настезь, а на крыльце рыжий медведь с лукошком возится. Дядя ружье вскинул, а Мишка ему: «Стой! Ежели промахнешься — упустим медведя. Ежели ранишь — он тебе и мне бока намнет. Давай я его глоткой возьму».

Спрыгнул Мишка с телеги, подбежал к изгороди и как закричит:

— Домовой! Домовой! Не пужай ты нас, родной!

Если будешь нас пужать, и тебе несдобровать!

Медведь от Мишкиного крика замер. А потом как сиганет в избу. Там его и сцапали. Вот такая глотка у Мишки была!

А пел он как! Сидят, бывало, парни и девушки у костра и затянут про рябину, про калину — грусть одна. А Мишка запоем — совсем другой коленкор. Такую нескладуху вкрутит, что все по траве катаются. А костер, как свеча, чадит от Мишкиного баса. Прибавь он голоса — совсем погаснет.

— Вот силища так силища! — удивлялась сестра Дуня. — У тебя, брательник, луженая глотка.

Гуляет Мишка на одном конце деревни, а на другом слышно, о чем балакает. Все секреты оглашаются: у кого лодку купил, с кем нынче из-за Вари потяпался, есть ли жор на реке. Многие даже радио выключали, заслышав Мишкин «репродуктор».

— Может, те в артисты пойти, Граммофон ты наш пермогорский! — шутила Варя, Мишкина невеста, высокая девушка с тугой рыжей косой. Такие часто встречаются в Поморье. Кожа у них белая, глаза — весенние ледышки.

— А что... и пойду... Вот зубы нижние вставляю и попробую.

Но пробовать не спешил. Работу бросать не хотелось. Больше десяти лет уже проработал. Начал сучкорубом. Сначала старшим помогал, а к пятнадцати годам работал в лесу самостоятельно.

Топор для него дядя Петро выковал. Достал где-то огромный подшипник, раскалил добела, выпрямил и отстукал из упругого бруска дивное лезвие. Потом дырку для топорщица протюкал. Топор этот Мишка в железной кобуре носил, прямо как саблю. Взмахнет разок — сердцу любо. Щепка от удара во все стороны

летит, а сучки только похрустывают. Хруп да хруп, пока из дерева хлыст не получится.

Нижних зубов у Мишки действительно не было. Потерял он их на лесоповале. Вальщики говорили, что он счастливчик — мог бы совсем без челюсти остаться. Факт этот на собрании разбирали. Многим по макушке досталось, но Мишке больше всех.

— Голос у тебя есть, Стелькин, а ума нет,— резче других выступал инженер по технике безопасности.— Что же ты харк под хлысты суешь? Пошла сосна падать... в сторону беги.

А дело было так. Стоял Мишка, смотрел вверх, любуясь сосной, а ударило его снизу, березкой. Падающая сосна прижала ее, а потом, когда рухнула совсем, отпустила. Вот этим-то отпущенным березовым стволом и стукнуло Мишку по челюсти.

После этого случая Мишка три недели молчал. Тут-то и поняла общественность, что такое Мишка Граммофон. Вроде бы и гармошка играет, да не так зазывно. Вроде бы и поют все, да не так дружно. А тут еще свадьба у Дуни. Хоть откладывай. У мужа родственники шумные, веселые, палец в рот не клади. Пристали к невесте.

— Пуцай Мишка играет и поет... На свадьбе и без зубов любо...

— Что вы! У него трещина в челюсти...— противилась Дуня.

— Пуцай хоть затянет, а мы подхватим,— настаивали родственники.

— Ох вы, голубчики мои! — заупрямилась Дуня.— Я тута при чем? Хотите, вместо брательника запевать будет мой Федулка? Улыбнулись гости, а свекровь сказала:

— Если мой Федулка запоет — все гости разбегутся! Твоему брату бог глотку дал певчую, а моему спину волосатую да бороду косматую!

Потеха. Гости смеются, а запевалы нет.

— Ну что, Мишатка! Может, профистулишь кое-как... Девки ты слышать хотят,— подступила к брату Дуня.

Она на уговоры большая мастерица. Но молчит Мишка, словно не слышит. Голову опустил да кнопки баяна пальцами перебирает. Старается. Пригорюнилась Дуня. Почуяла сердцем, что

недовольны гости. А что поделаешь? Челюсть не мясорубка, на свадьбу не одолжишь.

— Может, Варю, невесту Мишкину, на уговоры подтрунить? — посоветовал Федулка.— Она девка мягкая, ласковая...

— Иди побалакай! — подстрекнула она Федулку.— Варька-то на меня, как щука на блесну, зыркает.

Разыскал Федулка Варю. Сел около нее на лавочку, хмыкнул.

— Ну че, скучно?

— Скучновато...

— Может, те запеть, а?

— Мне?! — удивилась Варя.

— Те, а че?..

— Нет, Федул, я перед своим дролей позориться не стану.

— Тогда поговори с ним. Видишь, гости сникли... петь охота, а запевать некому.

Конечно, были на свадьбе и другие запевалы, только стыдились они петь в присутствии Мишки. Мастак он по этому делу, а они кто? Бубнилы деревенские. Подмигнула Варя Федулке, пошла не спеша к Граммофону.

— Что, Мишенька, молчим?

Запевала головой качнул и мехи погладил, словно косы девичьи.

— И мне невесело,— шепчет ему Варя.— Может, вполголоса споешь?

Молчит Граммофон. Хмурится.

— Ну, ну, уважь гостей! — не отступает Варя.— Не купись... вся деревня просит.

Хмыкнул Мишка, положил баян на лавочку, листок бумаги достал, письмененно ответил: «Глотки намозолим еще. Пушай внутри поется, ежели праздник велик». Варя прочла записку, глянула на скучных гостей и ответ написала: «Мишенька, голубчик мой, Федулка покоя не дает... Хоть пару частушек спой». Записку отдала, а сама, как береста, вспыхнула. Шушукаются меж собой гости, косятся то на нее, то на Мишку. Ждут, чем «комедь» кончится. «Невестушка моя...— опять пишет Граммофон.— Челюсть

кадвое раскалывается... не смогу петь...» Прочла Варя скорый ответ, Федулку кликнула.

— Федул! Не будет Мишка играть нынче, а петь и тем более... Нездоров он...

Помолчал Федул, затылок почесал, буркнул сквозь зубы:

— Ну что ж... жаль, свадьба расстраивается...

Гости завозмущались сразу, завыговаривали:

— Пуцай Мишка сам скажет, будем играть или нет?

Ему бы из горницы выйти, раз такое дело, а он и уходить не уходит и играть не играет: сидит молчит, словно воды в рот набрал, да руками машет. Хорошо, директор совхоза на свадьбе был.

— Что вы парня мучаете? — вмешался он. — Ему режим нужен, постель, а вы... Отдыхай, Михаил, пока совсем не слег.

Мишка поднялся с лавки, подошел к директору, баян ему протянул и вышел.

Месяц провалялся Мишка в постели. Вся деревня переживала. Дуню расспросами замучили: «Что? Да как? Когда баян в руки возьмет?» Одним словом, истосковались по гармонисту.

И вот он снова у костра. И голос его еще звонче летит над берегом реки. Пляшет деревенский люд, отстукивая то кадрили, то «девятку». А Варя не может налюбоваться своим дroleй.

— Может, те всерьез артистом стать?

— А что?! Можно... Говорят, только получают мало, — ответил Мишка и крикнул: — А ну, разделись, братва, на две стенки да кадрилию через луг! Чтоб на той стороне слухали... Кто побойчей?

Зашумели люди. Запрокидывали назад смуглые лица... и пошли... Такие кренделя завывали бойкими деревенскими ножищами, что слезы навернулись у Граммофона. Ох и любил он русские праздники!

Плывите, рученьки,  
Летите, ноженьки.  
Чего накуксился  
Ты, мой хорошенький?..

Забывал в эти минуты Граммофон и о своей сломанной челюсти, и о безотцовской юности. Тискали пальцы тугие кнопки баяна до тех пор, пока руки не онемели.

Тут и начиналась потеха. Мишка протягивал баян первому попавшемуся мужику и заставлял играть до последних петухов. Чаще всего мужик попадался не музыкальный, и из баяна рвались какие-то несвязные звуки. Но Граммофон не замечал фальши. Несколько часов кряду дирижировал в такт собственному пению. А под утро сам неистово исполнял прощальную.

Неизвестно, как бы сложилась жизнь Мишки, но после случая на лесоповале он стал подумывать о новой работе. Посоветовался с директором совхоза. Тот выслушал, а потом предложил:

— Иди в клуб, тетеря! Музыке людей учи... Талант пропадать не должен!

— Да какой у меня талант? Разве голосовой?..

— А голос что, мякиша? Давай, давай. Слушай, что говорю. Понял?

— Слушаю,— кивнул Мишка.— Токо мне самому учиться хоца.

— Поздно тебе новому ремеслу учиться... В клуб и так возьми, без образования.

— Нет... Образование надобно.— Упрямо повторил Мишка.— Сосну не так повалишь, никто не увидит. А ежели «Катюшу» на манер «Летки-енки» исполнить, позор на весь район!

— Ну что ж, дело твое...— Директор задумался.— Учись на здоровье! Тут я не помощник... Смотри токо, место в клубе не потеряй... Клуб у меня один, играют все...

— Тем паче ехать следует.

— Куда?

— В Москву, в училище музыкальное...

— В Москву так в Москву,— не стал спорить директор.— Смотри сам...

Провожали Мишку без особой охоты, но провожающих нашлось много.

Мишка вышел на крыльцо, взял баян в руки. Нахмурился да как растянет мехи! Так тоскливо заиграл, что корова Федулкина к крыльцу подошла и давай прядать ушами. А мелодия у Граммофона как песня пеночки была — жалобная, трепетная. Много сестра Дуня мелодий слышала, но такой никогда. Оглядела она провожающих, а Вари нет.

— Родненькие! Варька-то где?

— Моль, видать, съела,— пояснил дядя.

— Может, за изгородью она?.. Подойти страшится?

Посмотрели за изгородью. И там нет.

— Да будет вам непутевую искать.— Дядя чуть захмелел и требовал веселья.— Что ты, племян, душу жалобишь?.. Ты нашу пермогорскую сыграй!

И опять плясовая пошла: топот, прибаутки, выкрики.

— Жаль, баян Федулкин, а то бы с собой взял! — выкрикнул Мишка.

— Мне-то не жаль. Бери! Нынче-то мы сродственники,— отозвался Федул.— Токо сестре скажи...

— А мне и сказывать не к чему. Я брательника крепко знаю! — отозвалась Дуня.— С баяном-то он и меня, и дядьку родного забудет. Не дам баяна! И не мой, да не дам!

— Да ну ты! — выкрикнул Мишка.— Не жадничай!

— Глупый ты, Мишаня, баяна не жаль... тебя жаль! Потому и оставить его хочу... до приезда твоего...

— Ладно ты рассудила,— обрадовался дядя.— Гармонист без гармонии что птица без крыл! Пущай повертится по городу, покувыркается! Тя с первыми морозами ждатель?.. Или как прикажешь?

Мишка не ответил. Слушал. Советов ему полный короб давали, а баяна не дали. По-мудрому решили поступить, похозяйски, чтобы думка о Пермогорье липучей пчелкой жалила сердце. Без баяна Мишка со двора вышел, без песен звонких, с тоской какой-то...

Земляки к дороге его проводили и обратно пошли. А Варя неподалеку, у кладбища, его ждала и больше всех печалилась.

Она считала Мишку своей собственностью. Но женское чутье подсказывало ей, что никого он не любит.

— Варя! Миленькая невестушка. Солнышко мое несусветное! — обрадовался Мишка и вдруг запел:

Береза, белая подруга  
Весенних зорь,  
Прозрачных ре-е-е-к...

— Тихо ты! Молчи.— Глаза Вари испуганно блеснули.— Я тоже подумала о березах...

Слабость была у Вари. Не ходила она к милому без гостинцев. То молочка принесет, то грибочков солененьких. И в этот раз достала из сумки несколько кусочков сахара, шанежку, бутылочку, стаканчик, аккуратно положила на скамейку.

— Другому бы снега пожалела, а тебе... Выпей, голубчик мой, а я сахарок похрустаю... С кем сперва попрощаться будешь?

— По ком душа болит, с теми и буду...

Мишка неторопливо подошел к могилке деда, открыл бутылку и плеснул сначала на могилку, потом в стаканчик.

— За память!

— За каку?

— За общую... Без нее нельзя... без нее и тебе и мне худо.— Мишка по-солдатски вытянулся, выпил.— Плесни-ка еще! Мой дед крестьянином был, а книги читал мудрые.

Варя налила еще.

— Теперь за отца...— Мишка подошел к отцовской могиле, хотел чокнуться с надгробной звездочкой, но передумал.— Ну и красна же ты, мать честная!

— Я-то?

— Да не ты! Звездочка шибко красна. Светит!.. А что? Отец любил свет... Да простят родичи мои его крутой норов...— Мишка опять подошел к дедовскому кресту: — Простишь, Фрол, али нет? — Он вдруг замолчал, словно дожидаясь ответа.

Тихо было на кладбище. Лишь где-то высоко в небе глухо каркали вороны.

Граммфон поправил мятую сорочку и подошел к третьей могиле:

— Здравствуй, баушка! Здравствуй, родненькая! Прими от меня низкий поклон...— Он грузно опустился на колени и, не замечая грязи, застыл.

— Ты что, спятил? В самую глину лезешь...

— Молчи! — сказал Мишка. Он пригнулся к изголовью могилы и, коснувшись губами мокрой земли, всхлипнул.

Сыро было на кладбище, но светло и уютно. И душа Мишки светилась.

— Варя! — неожиданно позвал он.— Ты знаешь, отчего у меня такой сильный голос?

Варя не откликнулась.

— А с того, голубушка, что эти люди всегда рядом со мной. И чем больше я думаю о них, тем сильнее голосом и сердцем. Вот и теперь... Тебе страшно, а мне ничуть... Я как у себя дома, среди родных... Ну, дорогие, прощайте!..

Они вышли на проселочную дорогу и остановились.

— Гляди,— тихо сказала Варя,— «газик» директора к полям покатил. До пристани пешком пойдем или как?

Мишка побежал навстречу машине.

— Михеич! Михеич! Погоди... уезжаю я... Притормози! — Он изо всех сил размахивал кепкой, но директор даже не повернулся в его сторону.

— С чего бы это? — с обидой спросил Мишка.— Что я сделал ему?..

Грустно мужику без гармошки, а гармонисту тоска настоящая. Мишка поклонился уходящему берегу, «беломорину» в зубах покрутил, и пальцы его по перилам трапа, как по кнопкам баянным, забегали. Туда-сюда, а звука-то нет! Только теплоход на одной ноте гудит.

Утро над Северной Двиной разгоралось звонкое, солнечное, а душу Мишке словно пиявка сосала. С грустью смотрел он на белесую гладь реки. Тумана почти не было, и прибрежные валуны, как туши сонных тюленей, проглядывались до горизонта. Впереди теплохода глухо тарыхтел ботик, и над его мачтами



резвились стаи чаек. Их было так много, что небо над ботиком загоралось белыми сполохами, ослепляло глаза.

— Баян бы щас! Косарей будить да женок напевных! — высказал Мишка думку свою, и как-то смешно ему стало. Бокруг-то уже не свои, не пермогорские едут, а бог знает какие люди. Позыркал он по сторонам, к деду с пестерем подошел.

— Пермогорский?

— Черезковский... — бойко ответил дед.

— А пестерь-то нашеньский... Сашка Куликов такие плетет...

— А те че?

— Эх, дедок, где б гармошку достать? Околеваю без нее, руки трясутся...

— Ты че, позастыл?

— Нисколечко... Играть хотца, оттого и трясунок во мне...

— Ниче, отойдет щас... — Дед достал из фуфайки бутылочку, протянул Мишке. — Выпьем чуток, и без гармошки песня слюбится... Открывай!

— Не могу я так, без инструмента...

— А ты пробку внутрь, инструмент ни к чему...

— Ты че, спятил? Я те про гармошку, а ты... — Мишка положил бутылку на пестерь, взгляделся в лица пассажиров. — Мне гармонь нужна, а не сивуха. Эй, паря! — окликнул он веснушчатого матросика. — У тя гармошки не будет? Напрокат... душу скука ест...

Матрос улыбнулся.

— Нема... гитара одна... и та в пробойнах...

Мишка вернулся к деду.

— Че, нейметя без музыки-то?

— Нейметя... и гроши есть, а без баяна тоска...

— А ты не горемыкай. — Дедок посмелел. Бутылочки на пестере уже не было. — В Красноборске слазь, там любую гармонь купишь!

Медленно ползли минуты, пока в глубине зеленого берега не показалась деревянная пристань Красноборска. Не шел, а бежал Мишка по сосновым мостовым в районный магазин.

Пустынно было в промтоварном отделе.

— Мне бы гармошку, девушка? — осторожно спросил Мишка, глядя на пустой прилавок.

Девушка улыбнулась.

— Опять гармошку. Веда прямо... Как редкий товар, так спрос на него...

— Редкий?

— Да, редкий. Не удивляйтесь. В первую очередь Дом культуры обслуживаем.

— А ежели инструмент для общественного дела нужен, тогда как?

— В Дом культуры идите... Там любой инструмент есть.

Искать директора Дома культуры не пришлось. Он сидел в маленькой светлой комнатке и что-то писал. Мишка узнал его, решительно вошел в помещение, положил туес на стол.

— Гармонист я, из Пермогорья,— начал он напрямик.— В Москву еду, а гармони нет... Посодействуйте...

— Из Пермогорья?

— Ну да... Парфеновский...

— Мог бы не пояснять... мне за версту видно, что ты наш, сохачевский!

Директор отложил бумаги, нахмурился, подошел к распахнутому окну.

— Смотри, благодать какая... Что ни сосна, то дума, что ни береза — грусть... В Москву-то зачем?

— Учиться решил...

— На кого?

— Петь хочу...

— А здесь что, не дают?

Такого вопроса Мишка не ожидал. Он смутился, прекрасно понимая, что кому другому, а ему жаловаться не на кого. Где только не пел: и на лесоповале, и на сенокосах, и на жатве, и особенно в сказочную пору белых ночей, когда по берегам Двины цвела черемуха, и петь на народных гуляньях было в радость.

Опустил Мишка взлохмаченную голову, нехотя в окно глянул:

— На больших сценах хочу петь, товарищ директор... Как настоящий артист.

— А у нас что, сцены маленькие? — удивился директор.— Слава богу, и в Черевково ДК есть, и в Красноборске, и в Телегове нынче строят... А клубов сколько! В каждой деревне. Не то говоришь, Михаил Стелькин.

— Да вам и фамилия моя знакома?

— Кто ж тебя не знает, чертяга ты такой? Тебя на майском смотре весь район заслушался! Особенно с парфеновскими переборами... Ну и смел же ты, браток.

— Смелости у меня хватит... баяна вот нет...

— Интересно, куда же он девался?

Нахмурился Мишка, голову опустил, а что поделаешь. «Директора обманывать нельзя», — подумал он и выложил все как есть.

Сестра не дала баяна, товарищ директор... Федулка, муж ее, вроде бы и не против, а она не дала... С таким, говорит, инструментом тебя везде примут, с ним ты, мол, и дядьку родного забудешь, и сестру единственную. И вот... без баяна еду...

Директор покачал сочувственно головой, строго посмотрел на Мишку, сел в кресло.

— Вот что, Граммофон, по такому случаю давай ближе знакомиться... Я хоть и в директорском кресле вот уже десятый год, но в народном творчестве кое-что смыслю... Зовут меня Кузьма Ильич, фамилия моя Караваев... Специальное образование получил сначала в Архангельске, потом в Москве...— Директор помолчал, нахмурился.— А работаю, как видишь, тут, на Северной Двине... Ты в столицу-то насовсем собрался или учиться только?

Стелькин растерянно пожал плечами.

— Эх, Михаил, Михаил, знал бы ты, как нужна здесь твоя музыка... Не стало у нас своих музыкантов! Одни архаровцы приезжие. А им что!.. Запад подавай, да и только. Сметану едят нашу, совхозную, а песни поют иностранные.

Стелькин вздохнул.

— Так почему же и ты закуролесил, Михаил? В чем дело?

— Не могу я иначе, Кузьма Ильич, потому как силу в голосе

чую... Ну как с баяном будем? Продадите или нет? Идти надо...

Кузьма Ильич задумался. Руки его потянулись за куревом, но пачка оказалась пустой. Он высыпал из пачки оставшийся табак, положил под язык.

— Как думаешь, — строго спросил, — что кричат птицы отбывшемуся от стаи птенцу?

— Не знаю, не летал с ними.

— А все-таки?

— Сердятся, наверно...

— То-то и оно... А ты, голубчик, вспять летишь, а баян прошишь.

Мишка нахмурился, подхватил пожитки и направился к выходу.

— Стой! — окликнул директор. — С таким характером дальше Котласа не уедешь. Идем!

Кузьма Ильич поднялся и направился в другую комнату. Мишка за ним. Поворот ключа — и перед Граммофоном открылось помещение с музыкальными инструментами.

— Выбирай, — строго сказал директор. — Что облюбуеть — твое.

Стелькин замер, околдованный добротой директора. Как чуткий садовник дотрагивался до хрупких листьев, так дотронулся и Мишка до кнопок первой невзрачной гармошки и неторопливо растянул мехи. И запел:

Я снова дорогою болен  
и нежным дыханьем рек,  
и каждый репейник в поле  
мне дорог, как человек...

— А веселей можно? — поинтересовался Кузьма Ильич.

— Можно! Отчего ж нельзя?

В Пермогорье на угоре  
церковь белая стоит.  
По милахе пермогорской  
сердце ноет и болит.  
Моя милая маленька,  
чуть повыше валенка.  
В лапотки обуется,  
на пестерь надуется.

— Молодец! — подбадривал его директор.— Тебе учиться надо...— И руку подал на прощанье.— Ладно! Твоя гармонь, Михаил.

И вот Михаил Стелькин снова на теплоходе. Гармошка у него на коленях, как девушка любимая. И смеется, и плачет, и зевает за нос водит. Берега от черемухи белые, и ночь, как огромная синяя птица, навстречу плывет. Жить бы Мишке на этих берегах до старости.

— А «Камаринскую» можете? — интересуются пассажиры теплохода.

Мишка головой кивает, и летит ядреная плясовая над рекой, к белоснежным берегам.

— А кадрили?

И на кадрили Мишка горазд. Мехи растянёт до отказа и смотрит на зеленую зыбь воды, словно видит в реке живого кого-то. Много озорства и ярости в серых его глазах. В самых мелодичных переборах Мишка блаженно закрывает глаза и тихо покачивает головой в такт музыке. Начинает петь, сначала тихо, потом громко, порывисто.

Люди не могут равнодушно слушать его голос. Какая-то неуловимая сила обвораживает их, заставляет приблизиться к гармонисту, подпеть ему, посочувствовать грустной песне.

Без особых приключений добрался Мишка до железнодорожного узла— Котласа. Взяв билет, он в этот же день сел в поезд и поехал в общем вагоне в столицу.

Много было закадычных друзей у гармониста и в Красноборске, и в Телегове, и в Котласе, но какая-то дерзкая сила тянула его дальше, мимо близких друзей, давних знакомых. «Вот здесь, в Телегове, товарищи мои живут, артельные рыбаки...— думал он, глядя на знакомую пристань.— А в Щепицине народный хор какой! Старинные двухрядки, баяны наборные. На берег бы выйти, да некогда. Торопиться надо. Друзья подождут, а времени — нет...»

Грязновато было в общем вагоне, накурено. Но Мишку это не беспокоит. Гармонь на верхней полке, туесок в ногах, а самодельный чемоданчик верную службу служит. Достает из него Граммофон тетради с песнями, читает вполголоса. Много разных песен у него в тетрадках. Там же и аккорды редкие проставлены. Листает он страницу за страницей.

Постукивают колеса поезда. Убаюкивают, однообразно покачивают. Мишка погружается в сон. И видится ему опять Первогорье, Северная Двина, Варя. Молоденькая совсем, угловатая, быстроглазая. Ее руки, словно журавлиные крылья, выводят в густом воздухе плавные движения. Они зовут Мишку, обволаживают. И он идет навстречу к своей зазнобушке, в старом картузе, в расстегнутой рубашке брусничного цвета. В глазах у Вари радость, в душе трепет, а у Мишки в сердце боль.

Проснулся Стелькин. Открыл глаза, прислушался, посмотрел на часы — утро. «Странное дело,— подумал он,— через час поезд в Москву прибывает, а в вагоне все спят, словно не в Москву едут, а на Увал сено косить...» Вагонная тишина раздражает Стелькина.

— А ну, вставай, мужичок! Хватит киснуть...— тормозит он парня, перегородившего длинными ногами проход в вагоне.— Москва рядом... Столица!

Здоровяк от неожиданной трепки приподнялся с верхней полки, но, поняв, в чем дело, перевернулся на другой бок.

— Ежели тебе веселиться охота,— пробурчал он,— в соседний вагон иди... Там веселые едут... А мне спать не мешай. В милицию сдам.

Нахмурился Мишка, переступил с ноги на ногу, трехрядку на плечи вскинул, да и ушел в другой вагон. В соседнем вагоне уже никто не спал, и какой-то веселый дед, расплываясь в улыбке, лихо наяривал по струнам старенькой балалайки. Инструмент ходил ходуном, а весельчак притопывал ногой, то и дело поглядывая в окна вагона.

— Девоньки, Москва-то уже на носу!

— Чуюм, чуюм, Кирилла Михалыч! — отвечали пожилые женщины, набрасывая на головы ситцевые разноцветные платки.— Давай-ка, Кирюша, дробушку нам! Чай, гуляем сегодня.

И пошла одна из «девонек» такие кренделя выписывать, что даже Мишка залюбовался.

И ничего не оставалось ему, как снять с плеча трехрядку, сесть рядом с балалаечником и развернуть мехи.

— Дробушку нам! — кричали женщины.— Дробушку!

Заиграл Граммофон, а сам к старичку веселому с вопросом:

— Куда едете-то?

— В Москву, на выставку. А ты куда?

— Я-то... в столицу... учиться...

— Это хорошо...— Балалаечник подмигнул в такт дробушки.— Я тоже в столице учился... И тоже, как ты, инструмент за собой таскал. Слышишь... Во всех тональностях играю...

— Слышу, слышу...— ответил Мишка.

— Ты очень-то не робей. Москва робких не любит.— И весельчак вдруг посмотрел на Граммофона с отеческой добротой.

— А трудно было учиться-то? — осторожно спросил Мишка.

— Еще как! — бойко отвечал добродушный весельчак.— Я тогда после школы сразу в академию попал.

— В академию?

— Ну да, в сельскохозяйственную... В нулевую группу.

— В нулевую?

— В подготовительную. Специально для бедных крестьян... Знаний-то не хватало... А сейчас, видишь! — Балалаечник кивнул на столик в купе.— Сами книги пишем...

Он взял со стола зеленую книжку, бойко протянул Граммофону:

— На память о встрече...

— Что вы... зачем?..

— Держи, держи, парень,— зашумели раскрасневшиеся от пляски женщины.— Кирилла Михалыч зря бумагу не переводит...

— Ты на кого учиться-то едешь? — полюбопытствовал Кирилла Михайлович.

Мишка смутился.

— Артистом хочу стать...

Бабоньки прыснули на все лады. А балалаечник кивнул одоб- рительно:

— Молодец! В тридцатые годы наш брат крестьянин только мечтал об этом... Голодно было, лихо... Да и необычно как-то простому мужику консерватории да всякие там сценические шко- лы кончать. А ныне! Эх вы, счастливишки пролетарские! Зависть меня гложет, глядя на вас... Ведь я-то всю жизнь артистом мечтал быть, а тут война, затем коллективизация, потом снова война... а теперь все... Земле век служил...— Кирилл Михайлович взял в руки балалайку, погладил ее, поспешно стал одеваться.

— Эх, и растормошил ты мою душу... Ну что ж, и хорошо это... Отважился артистом стать, значит, действуй! И посмейей будь...

Старик улыбался, но в глазах чувствовалась грусть.

— Вот она, матушка-Москва-то! — со вздохом и как-то на- распев громко произнес Кирилл Михайлович.— Давай-ка в честь приезда русскую плясовую рванем.

— Давайте...

— Растянул Мишка мехи трехрядки, шею вперед, как гусь перед полетом, вытянул, и понеслась русская плясовая из окон вагона на платформы вокзала, разливая свои зазывные звуки среди гулкого городского шума. А женщины тем временем под- хватили Мишкины пожитки и вышли вместе с гармонистом да балалаечником на московский перрон.

Глянул Мишка по сторонам, и сердце его сжалось от ощущение, которого он еще никогда не испытывал. Всюду толпы людей, все мчатся куда-то, спешат, а над ними большие каменные дома и бесконечный монотонный гул. Сделал Мишка несколько ша- гов и разом ощутил, как заглатывает его какая-то неудержимая сила, оглушает и тянет, тянет в неистовый круговорот. И вдруг почувствовал гармонист, что голос его словно куда-то пропал, а сам он становится уже другим, совсем маленьким, обычным человеком, похожим на многих людей огромного города.



## СОДЕРЖАНИЕ

Федина беда. <i>Повесть в письмах</i> . . . . .	3
Ванино масло . . . . .	40
Пока стучит сердце . . . . .	54
Чокера . . . . .	61
Последний покойник . . . . .	79
Мишка-Граммфон . . . . .	94

---

**Филимон Иванович СЕРГЕЕВ**

**ФЕДИНА БЕДА**

Ответственный за выпуск **И. Жеглов**  
Редакторы **И. Митрофанов, О. Русецкая**  
Художественный редактор **Г. Комаров**  
Технический редактор **Н. Александрова**  
Корректоры **Т. Контиевская, Н. Хасая**

Сдано в набор 09.02.89. Подписано в печать 30.08.89. А 04888. Формат 70×108 1/32. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 4,9. Усл. кр-отт. 5,42. Учетно-изд. л. 5,8. Тираж 75 000 экз. Издат. № 42. Заказ 9—92. Цена 35 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сушевская ул., 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес полиграфкомбината: 252119, Киев-119, Пархоменко. 38—44.

35 коп.

